

© 2005 г. Г.П. НЕЩИМЕНКО

**НЕКОТОРЫЕ РАЗДУМЬЯ НАД КНИГОЙ “ЯЗЫКОВАЯ СИТУАЦИЯ:
ИСТОКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ (БОЛГАРСКО-ЧЕШСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ)”**

В связи с анализом книги Г. Гладковой и И. Ликомановой “Языковая ситуация: Истоки и перспективы (болгарско-чешские параллели)” в статье рассматривается целый ряд актуальных проблем современной социолингвистики. Автор статьи выражает обеспокоенность по поводу излишней политизированности данной работы и отмечает также непропорциональность необоснованного переименования, перекодирования основного понятийно-терминологического корпуса, целесообразность использования которого не только подтверждена длительной традицией, но и вполне отвечает целям научного исследования, облегчая сопоставление получаемых результатов.

Книга авторов – чешской исследовательницы Г. Гладковой и болгарской И. Ликомановой – вышла в издательстве “Каролинум” Карлова университета в Праге в 2002 г. Работа написана на русском языке, поэтому при ее рассмотрении будем оперировать исключительно аутентичным авторским текстом¹.

Книга посвящена центральной социолингвистической проблеме языковой ситуации, разработка которой чрезвычайно важна для решения широкого спектра вопросов как теоретических, так и практических, в том числе для понимания специфики строения и внутренней дифференциации этнического языка, его функционирования в обществе, для установления оптимальной направленности совершенствования языковой культуры и языкового воспитания. Добавим, что именно в изучении проблемы языковой ситуации в последнее время наметились новые подходы, альтернативные концепции, позволяющие ожидать и новых решений актуальных исследовательских задач.

Монография состоит из краткого Введения (3.5 с.), освещающего профессиональное и, как ни странно, политико-идеологическое кредо авторов, а также трех глав: Коммуникация, речевое поведение и система языка (159 с.); Болгарская языковая ситуация. Истоки и развитие (218 с.); Современная языковая ситуация в Болгарии (немногим более 20 с.). Первая, теоретическая, глава является несущей конструкцией книги в целом, две другие – фактографические, имеют по замыслу авторов прикладное значение. Работа основывается преимущественно на болгарском материале с привлечением данных чешского языка. Вполне определенно обозначено и авторство разделов книги: первая глава написана совместно, однако, как подчеркивается, решающее слово в проходивших дискуссиях принадлежало Г. Гладковой. Подобное акцентирование приоритета лишь одного из авторов звучит несколько необычно, впрочем, в этом есть свой резон – именно Г. Гладковой написана статья, излагающая концепцию будущей монографии [Гладкова 2002]. Автор второй главы – Г. Гладкова; третьей – И. Ликоманова. Имеется и список литературы, к сожалению, весьма неполный, а также англоязычное резюме.

¹ Для удобства читателей раскрою лишь некоторые из весьма многочисленных индивидуальных авторских аббревиатур: ЯСф ‘языковая сфера’; КСф ‘коммуникативная сфера’; ЯСит ‘языковая ситуация’; КСит ‘коммуникативная ситуация’; СЯ ‘стандартный язык’; ЧСЯ ‘чешский стандартный язык’; КЯ ‘коллоквиальный язык’; НЯ ‘национальный язык’; НВ ‘национальное возрождение’; ЯП ‘языковое пространство’; КП ‘коммуникативное пространство’. Используются также аббревиатуры ПЛШ ‘Пражская лингвистическая школа’; РР ‘разговорный язык’.

При анализе книги наибольшее внимание будет уделено изучению Введения, а также теоретической главы, имеющих установочное значение. Что касается фактографических разделов, то, не вдаваясь в тонкости анализа языковой ситуации эпохи болгарского национального возрождения (более компетентно по этому поводу, очевидно, выскажутся болгаристы), рассмотрим внимательнее фрагменты, связанные с чешским возрождением – этим периодом в свое время я занималась достаточно серьезно, привлекая к исследованию широкий круг источников, в том числе и многочисленные тексты, т. е. конкретную языковую практику (из имеющихся публикаций назовем лишь [Нещименко, Широкова 1981]).

Из Введения следует, что целью авторов является построение “структурной и функциональной модели коммуникативной и языковой ситуации”, которая помогает им “искать ответы на отдельные вопросы, возникающие в ходе описания чешской и болгарской языковой действительности как в диахронном, так и в синхронном плане”. Таким образом, по их замыслу “конкретные заключения” должны исходить “в синхронном и диахронном плане из единой и общей методологической базы, что кажется... особо ценным для перспективного анализа исторической обусловленности языковой ситуации – с одной стороны, а ее состояния и перспективного развития – с другой”. Авторы полагают, что сочетание методологии обоих подходов позволит им выйти на более общие закономерности развития и функционирования языка. Они также думают, что социолингвистический анализ языковой ситуации “в диахронном плане” стал проводиться “лишь в последнее время” (ср. [Гладкова, Ликоманова 2002: 11]).

Итак, перед авторами стоят поистине масштабные задачи: а) разграничить и выявить структуру коммуникативного и языкового пространства; б) создать структурную и функциональную модель коммуникативной и языковой ситуации; в) использовать эту модель как единую и общую методологическую базу сопоставительного, синхронного и диахронного описания чешской и болгарской языковой действительности. Для решения этих задач авторы предполагают применить следующий методологический подход: “В структурной модели мы... разграничиваем языковые явления от коммуникативных в форме коммуникативного и языкового пространства, причем коммуникативное пространство является первичным, а его параметры и признаки находят свое отражение, с одной стороны, в структурировании языкового пространства симметрично к коммуникативному (проявление однотипных параметров), а с другой стороны, и в конкретном речевом поведении коммуникантов (влияние конкретной коммуникативной ситуации). В функциональной модели показываем связь между развитием коммуникации и описываемой нами структурой коммуникативного и языкового пространства. Исходя из постановления о различном характере регламента (нормы) поведения (просим читателя запомнить этот термин, поскольку в работе он имеет принципиальное значение. Прим. наше. – Г.Н.) в данной коммуникативной сфере как основной причине различий речевого поведения, нам удастся также довольно четко решать проблему сущности явлений, конкретно – соотношение нормы и вариантности, разновидности и стиля с системой (langue) или же речью (parole). Для разграничения языковых от коммуникативных параметров считаем необходимым воспользоваться в синхронной части социологическим ракурсом, объективно отражающим реляцию тип коммуникации – речь” [Там же: 10–11].

Во Введении анонсируются не только исследовательские задачи, дается и глобальная негативная оценка современного состояния славистики и прежде всего славянской социолингвистики: «Традиционно принятые интерпретации языковой ситуации оказываются неприменимы к настоящему реальному положению. Традиционные описания процессов становления и развития стандартных языков также не удовлетворительны, так как не могут объяснить ряд процессов, которые являются ключевыми с точки зрения анализа современной ситуации. **Даже и сравнительно новые научные труды можно принимать во внимание только с учетом общеполитического и социального контекста их возникновения и с учетом их методологической выдержанности** (выделено нами. – Г.Н.). До 1989 г. (и немного позднее – принимая во внимание время публикации лингвистической литературы и неспособность научного мышления резко порвать с утвердившейся на

протяжении десятков лет научной парадигмой) они поддавались неизбежно тенденциям “языковедческого соцреализма” (выделено нами. – Г.Н.), что находило воплощение, например, в таких приемах, как селективный подбор фактов, их идеологически зависимая интерпретация, априорно выдвигаемые тезисы о тенденциях развития стандартных языков, идеологически обусловленные языковые теории или оценки языковых явлений, копирующие интерпретацию социального и исторического развития общества. (Мы предлагаем обозначение языковедческий соцреализм как объективное описание реальности социалистического периода, когда и в языкознании ощущалось сильное давление идеологической парадигмы, в значительной мере владевшей всем обществом и воздействовавшей порой даже на личные убеждения авторов)» [Там же: 9–10].

Ставя под сомнение результаты труда целых поколений ученых, авторы книги делают это голословно, без приведения доказательной аргументации. Иногда, впрочем, критика становится адресной: в том, что “славяistica литература не смогла совсем избавиться от наслоений минувшего периода”, повинны прежде всего русская и болгарская лингвистика (ср. [Там же: 148]). Предметом особой критики является все же лингвистика русская. Не менее впечатляет и призыв к введению цензуры, политической, идеологической и методологической: при оценке значимости даже сравнительно новых научных трудов нужно учитывать не их профессиональные достоинства, а **только** общеполитический и социальный контекст их возникновения, их методологическую выдержанность.

Воинственная тональность рассматриваемой книги – не просто атрибут индивидуальной авторской стилистики, она имеет и функциональное назначение – создать у читателя иллюзию того, что, решая свои “масштабные” задачи, Г. Гладкова и И. Ликоманова были попросту лишены возможности опереться на опыт предшественников, что им приходилось все начинать с “чистого листа”, полагаясь лишь на собственную исследовательскую интуицию. Возможно поэтому, даже заимствуя чужие идеи, они скупы на обязательные в подобных случаях ссылки на первоисточник. В отличие от предшественников, повинных во всех прегрешениях, а потому склонных к селективному подбору фактов, авторы сулят читателю их объективную интерпретацию, методологически опирающуюся на постулаты Пражской лингвистической школы (вплоть до новейших разработок и дискуссий) (ср. [Там же: 11]). Забегая вперед, скажем, что авторам далеко не всегда удастся продемонстрировать заявленную объективность, поскольку профессиональный анализ нередко подменяется политическими констатациями. Так, говоря о новом витке повышенного интереса к вопросам языковой ситуации, они называют в качестве одной из важнейших причин довольно резко смену научной парадигмы, наступившую «кроме всего прочего, и благодаря “освобождению” языкознания в славянских странах от идеологической рамки социалистического периода» [Там же: 9]. Остается лишь недоумевать, какая смена парадигмы имеется в виду и почему интерес к данной проблематике проявляется не только в освободившемся от социалистических догм регионе, но и в мировой лингвистике в целом.

Оценивая развитие социалингвистики после “бархатной” революции 1989 г., авторы пишут во Введении: “Наш интерес к данной проблематике вызван главным образом наблюдаемой нами в **последнее десятилетие** (выделено нами. – Г.Н.) исключительной динамикой в славянских языках, причем не только в развитии самих языков, но и в языкознании, в созревании и решении новых теоретических проблем. В обеих этих областях наблюдаются существенные сдвиги, вызванные, с одной стороны, внешними (внеязыковыми) факторами, в частности, прежде всего сменой политической ориентации общества, социальными, экономическими и культурными изменениями последнего времени, а с другой – очевидными языковыми процессами, которые коренным образом меняют картину речевого поведения общества. Стремительное развитие наблюдается как в отдельных разновидностях данного языка (системные, субстанциальные изменения), так и в функциональном соотношении между этими разновидностями, т.е. в развитии языковой ситуации в целом (функциональные изменения). Такое развитие, несомненно, исторически обусловлено. Этому факту, однако, до сих пор не уделялось соответствующее вни-

мание, так как тесная взаимосвязь, если не взаимообусловленность *синхронного развития с диахронным*, скорее постулируется в теории, чем исследуется на практике” [Там же: 9]. Отметим, что если с идеолого-политической составляющей все более или менее ясно, то хуже обстоит дело с собственно лингвистической интерпретацией. Так, не учитывается, что скорость протекания языковых процессов, тем более вызывающих внутрисистемные изменения (см. выше: “системные, субстанциальные изменения”), не может совпадать с темпом изменения экстралингвистических обстоятельств. В связи с этим, сколь кардинально бы ни менялась социально-политическая ситуация, десятилетия – слишком короткий временной отрезок для того, чтобы это повлекло за собой **коренные**, как утверждают авторы, системные и функциональные изменения в развитии языковой ситуации². Игнорируется и то, что языковые изменения отнюдь не являются зеркальным отражением экстралингвистических обстоятельств. Более динамичен, конечно, лексический состав, однако и здесь реализация “социального заказа” корректируется внутрисистемными языковыми закономерностями. Спорными являются утверждения о скачкообразной смене условий функционирования национального языка в бывших социалистических странах, обусловленной резким и коренным изменением большинства социальных параметров. По мнению авторов, это влечет за собой немедленную и ускоренную реакцию со стороны языка, при этом они проводят параллель с ситуацией начального периода эпохи национального возрождения, т.е. последней четверти XVIII в. (ср. [Там же: 389]). Между тем, как показывает анализ материала, в целом языковое развитие в период после “бархатных” революций продолжает оставаться континуальным, оно полностью укладывается в русло тенденций языковой эволюции. Более значимой, на наш взгляд, является смена не столько социальных, сколько коммуникативных факторов, в частности, использование новых информационных технологий.

Авторам книги, очевидно, не известны и имеющиеся синхронно-диахронные штудии, образцом которых в чешской социолингвистике являются труды Б. Гавранека. Работ подобного жанра не так уж и мало³, определена и методика их выполнения. Наверное, следовало бы в этой связи уделить больше внимания интересной работе М. Виденова [Виденев 1982], о которой в книге говорится лишь вскользь.

Остается неясным, что имеют в виду авторы, говоря о синхронно-диахронной “**взаимообусловленности**”. То, что историческое развитие языка оказывает влияние на его современное состояние, бесспорно, однако как осуществляется обратное влияние, т.е. обусловленность “исторического развития современной динамикой...” [Там же: 13], остается лишь гадать.

Авторы книги добровольно берут на себя еще одну нелегкую ношу: **переосмыслить** терминологию описания языковой ситуации, а также ввести при необходимости **новые** дефиниции общеупотребительных и важных для описания терминологических понятий, определив их место в рамках единой системы. Так, вместо термина *норма* (или же наряду с ним) постоянно употребляется *регламент*; вместо *обиходно-разговорное общение – капиллярное*; вместо *язык – код* и пр. По-новому предполагается интерпретировать и такие понятия как *разновидность национального языка, стиль* и пр. И, конечно же, употребляется *макродиахрония* вместо *развитие языка*, *микродиахрония* вместо *динамика современного языка* (кстати, в традициях постоянно упоминаемой ПЛШ было употребление в этом случае терминов-понятий *синхронная динамика; гибкая стабильность*). Редефиниции подвергаются и такие понятия как *гомогенность* и *гетерогенность*; ср.: «Гомогенность понимаем как использование данного средства как немаркированного в большинстве КСит, относящихся к данной КСф, т.е. гомогенными

² Кстати, далее в монографии авторы совершенно справедливо отмечают факт «естественной стабильности языкового пространства, которая проявляется как “консервативность, необходимая для нормального протекания коммуникации»» [Там же: 69].

³ Назову лишь одну публикацию – Проблемы славянской диахронической социолингвистики [Проблемы славянской диахронической социолингвистики 1999].

считаем средства, типичные для данной разновидности, интегрированные, преобладающие в ней... Гетерогенность понимаем соответственно как нетипичность средства для данной разновидности, его неинтегрированность (такую же оценку могут получить и некоторые средства из “сверхпризнаковой” зоны данной ЯСФ – они стилистически гетерогенны, нетипичны для большинства КСит этой сферы, например, архаичные средства» [Там же: 68]. Характерно, что и понятие *билингвизм* трактуется почему-то как сосуществование разных **разновидностей** одного и того же языка, а не разных **языков**, как это обычно принято (ср. [Там же: 369]). Причем, по утверждению Г. Гладковой, подобное явление почему-то встречается лишь в так называемой регламентированной сфере. Спорна и трактовка понятия *этнос*, которое понимается как нижестоящее по отношению к понятию *нация*; ср. название раздела: “Предпосылка перехода от этнического языка к национальному” [Там же: 182]. Невзирая на то, что термин *коммуникативная сфера* традиционно обозначает специализированные типы коммуникации (работы В.А. Аврорина, В. Барнета, А. Едлички, Л.Б. Никольского и др.), Г. Гладкова иронически замечает: “Этот термин, по словам Г. Неццименко [Неццименко 1999: 34], уже занят, но мы хотим подчеркнуть, что это понятие (коммуникативная сфера. – Г.Н.) ...осталось до сих пор неразработанным и довольно нечетким” [Там же: 28]⁴. Не уточняя, в чем заключается “неразработанность” и “нечеткость”, Г. Гладкова “редефинирует”⁵ данный термин.

Увлекаясь перспективностью коммуникативного и социологического подхода к языковой проблематике, Г. Гладкова широко использует терминологию соответствующих дисциплин, зачастую смешивая ключевые понятия, в частности, *коммуникативный и языковой, речевой*, соответственно и *коммуникативное и речевое поведение* или же *социологический и социальный* (“быстротой социологических изменений в обществе” [Там же: 246]).

Терминотворческие новации делают авторов книги, хотя бы они того или нет, заложниками нововведений. Им постоянно приходится пускаться в пространные, многократно повторяющиеся и, к сожалению, не подкрепленные иллюстративным материалом разъяснения. Если добавить к этому чрезвычайно тяжелый стиль изложения, бесчисленное количество индивидуальных сокращений, то не трудно себе представить, сколь сложным занятием является чтение книги. Впрочем, в книге чаще всего недифференцированно даются разные терминологические эквиваленты, иногда в скобках указывается их целая вереница, что, в конце концов, приводит к терминологическому хаосу и сумятице, однако чего не сделаешь ради того, чтобы “преодолеть в известной степени терминологический разбой... Он вызван, с одной стороны, теоретическими нечеткостями или даже разногласиями, вытекающими из недостаточно последовательно проведенного разграничения между структурной и функциональной перспективой коммуникативного и речевого пространства, а с другой – несовместимостью терминологических систем в отдельных языках” [Там же: 11].

Бессмысленно было бы возражать против необходимости совершенствования терминологической номенклатуры, однако эта корректировка должна быть функционально обусловленной, способствовать более глубокому познанию языковых закономерностей. Установка на создание любой ценой новой, “более актуальной” терминологии и ре-

⁴ Приведу для сравнения фрагменты из моей монографии: «В настоящем исследовании... мы сочли возможным ввести новую коммуникативную единицу, более высокой степени абстракции, чем “коммуникативная ситуация” и “коммуникативная сфера”. Это понятие коммуникативного ареала, применение которого позволяет наметить членение коммуникативного пространства более “широкими мазками”. Возможно, более привычным в этом случае был бы термин “коммуникативная сфера”, однако он, имея сложившуюся традицию употребления, уже “занят”» [Неццименко 2003а: 42].

⁵ О понятии “коммуникативная сфера” см. мою монографию: «Понятие “коммуникативная сфера” представляет собой более высокую ступень абстракции, чем коммуникативная ситуация. Оно детально разработано в социолингвистике, хотя смысловая наполненность и численность коммуникативных сфер у разных исследователей далеко не всегда совпадают» [Неццименко 2003а: 40].

дефиницию традиционно используемой может причинить немалый вред, поскольку лишь оперирование корпусом стабильного, непротиворечиво интерпретируемого понятийно-терминологического аппарата может служить залогом успеха научного поиска, надежной базой для сопоставительного изучения.

Намерены авторы пересмотреть и “некоторые основные понятия теории СЯ с точки зрения изменения их сущности и традиционного представления о них” [Там же: 380]⁶. При этом больше всего “достаётся” термину *литературный язык*, который заменяется на *стандартный*, распространенный в англоязычной лингвистике. Казалось, совсем недавно, например, в 1998 г. (судя по названиям публикаций), Г. Гладкову термин *spisovný jazyk* ‘литературный язык’ вполне устраивал. И. Ликоманова часто его использует и в главе о современной языковой ситуации в Болгарии.

Термин *стандартный язык* славистам известен. Им последовательно и успешно пользуется Д. Брозович, автор целого ряда интереснейших социолингвистических исследований. В чешской социолингвистике новейшего времени именно этому термину отдает предпочтение, например, З. Старый. В словакистике его употребляет Я. Горещкий, однако – и это очень важно – он использует его не **вместо** термина *литературный язык*, а **наряду с ним**, имея в виду литературный язык со смягченной кодификацией. В целом же термин *стандартный язык* в славистике не прижился. О возможных причинах этого я писала в ряде работ [Нещименко 1999; 2003а; 2004 (в печати)]. На наш взгляд, предпочтительность термина *стандартный язык* не очевидна. Оба обозначения, разумеется, условны, однако термин *стандартный язык* менее лексикализован, а значит, более маркирован, т.е. наделен сопутствующими оценочными коннотациями, противоречащими в частности направленности изменения речевой специфики современной публичной коммуникации. Различные ученые трактуют это понятие неоднозначно (см. подход Я. Горещкого), лабильны хронологические рамки его применения, многозначно и само исходное понятие *стандарт*. Важно и то, что сам факт стандартизации вступает в противоречие с естественной вариативностью литературного языка, являющейся мощным импульсом его развития⁷. Впрочем, как постоянно акцентирует Г. Гладкова, с вариативностью нужно бороться, преодолевать ее⁸. При этом она, очевидно, забывает, что речь идет не о терминологической номенклатуре, где необходимы семантическое единообразие, словопроизводственная регулярность и пр., т.е. соблюдение единого стандарта, а о живом, развивающемся полифункциональном идиоме. Введение термина *стандартный* не кажется целесообразным и в силу наметившейся тенденции ослабления авторитета кодификации⁹, усиления межидиомной интеграции.

⁶ Используя термин-понятие *этнический язык*, я учитывала его семантическую емкость: “он может быть применен к любому периоду в жизни социума, т.е. как к донациональному, так и к национальному. Термин *национальный язык* в тексте исследования, как правило, встречается лишь тогда, когда именно он был употреблен авторами анализируемых работ” [Нещименко 2003а: 9].

⁷ Проблема диалектического противоречия между тенденциями языковой вариативности и языковой экономии мною уже неоднократно рассматривалась.

⁸ Ср.: “ограничить невыгодную с точки зрения коммуникации вариантность” [Гладкова, Ликоманова 2002: 239]; “регламент СЯ перестает быть зависим от нормы и узуса, а все больше определяется кодификацией, способствуя, таким образом, дальнейшему ограничению вариантности СЯ и противодействуя натиску узуса и развития коммуникативных параметров” [Там же: 131]; “Сущность функционирования нормы сводится до ограничения вариантности согласно данным общепринятым правилам” [Там же: 127]; “Билингвизм неизбежно приводит к разрастанию вариантности узуса и расшатыванию нормы, чему мы свидетели в обоих сравниваемых языках в настоящее время” [Там же: 376].

⁹ Что касается самих “кодификаторов”, то с ними Г. Гладкова не слишком церемонится, отмечая узость круга специалистов-языковедов, которые в настоящее время уже не располагают ни рычагами, ни авторитетом, чтобы убедить в своей правоте все языковое сообщество [Гладкова, Ликоманова 2002: 151]. Не ясно, впрочем, как все это соотносить с предыдущим высказыванием: “регламент СЯ перестает быть зависим от нормы и узуса, а все больше определяется кодификацией” [Там же: 131]?

Пытаясь убедить читателя в целесообразности введения в метаязык лингвистическо-го описания именно термина *стандартный язык*, Г. Гладкова призывает на помощь авторитетных ученых: “считаем удобнее ввести другой знакомый ученым термин, хотя непривычный для славянского языкознания, но все-таки уже употребляемый славянскими авторами (Брозович 1967, Н. Толстой 1988:10; З. Стары 1995, Горещкий 1988: 214). У одного из авторов, на которого наша работа опирается в своих основных постулатах, у Едлички, литературный язык отождествляется в определенном смысле с национальным (Едличка 1988: 46), а это по нашему мнению не соответствует реальному положению на сегодняшний день” [Гладкова, Ликоманова 2002: 151]. По поводу последнего должна отметить, что отождествление этих терминов недопустимо изначально, а не только “для сегодняшнего дня”. Известно, что А. Едличка специально занимался проблемами лингвистической терминологии (см. развернутые терминологические экскурсы в книге “*Spisovný jazyk v současné komunikaci*” (Прага, 1974), был он и ответственным редактором капитального двухтомного Словаря славянской лингвистической терминологии (Прага, 1977). Тщательно проштудировав в свое время его работы и по эпохе возрождения, и по теории литературного языка, и по социолингвистике и т.д., могу сказать, что никакого отождествления названных понятий у него нет. Было бы странно, если бы ученый такого масштаба и такого уровня профессионализма (и, добавим, такого педантизма в хорошем смысле этого слова), как А. Едличка, смешивал эти ключевые понятия¹⁰, пусть даже лишь в “определенном смысле” (доказательства, разумеется, отсутствуют). Впрочем, дело в том, что А. Едличка сомневался в правомочности замены термина *литературный язык* на *стандартный*. В защиту термина *литературный язык* он приводил и точку зрения М.М. Гухман, известного советского германиста: «В большом терминологическом экскурсе, содержащемся в синтетической статье о литературном языке... М.М. Гухман отмечает, что термин “литературный язык” удобен в силу своей нейтральности для обозначения инвариантного понятия “культивированная форма существования языка”» [Jedlička 1974a: 49]¹¹. Можно ли удивляться тому, что авторы книги лишь бегло упоминают и о том, что известный ученый Я. Корженский также возражает против употребления термина *стандартный язык*.

Что касается Н.И. Толстого, то он отмечает, что впервые термин “стандартный язык-диалект” ввел в нашу научную литературу Е.Д. Поливанов еще в 1931 г. в статье “О фонетических признаках социально-групповых диалектов и в частности русского стандартного языка”, опубликованной в сборнике “За марксистское языкознание” – М., 1931 (см. [Поливанов 1968]). Сам же Толстой не считает термин *стандартный язык* более удобным, чем *литературный язык*. Мало того, он его понимает несколько иначе, чем, к примеру, Д. Брозович. Для последнего это синоним термина *литературный*, причем «Эпитет “стандартный”, хотя и с некоторой оговоркой, он применяет даже к таким древним периодам, как период XVI в.» [Толстой 1988: 29]. Н.И. Толстой, напротив, считает необходимым ввести хронологические ограничения, т.е. называть стандартным литературным языком «лишь литературный язык в эпоху сформировавшейся нации, т.е. в принципе видеть в этом термине тот же смысл, что и в термине национальный литературный язык... Естественно, что, когда речь идет о языках середины XX в., другим синонимом термина “стандартный литературный язык” окажется современный литературный язык» [Там же: 29]. И далее он заключает: «Вероятно, термин “стандартный язык” можно было бы не вводить в обиход, сохраняя устоявшееся – литературный язык, если бы от последнего можно было бы создать производное *литературность* в нужном нам смысле слова. Этим собственно только и можно объяснить наше стремление в

¹⁰ В книге А. Стиха “*Jazykověda – věc veřejná*”, любовно подготовленной к изданию его учеником В. Петрбоком, по поводу выхода в 1992 г. монографии П. Сгалла и Й. Гронька “*Čeština bez příkras*” отмечается, что “они (авторы. – Г.Н.) не отождествляют национальный язык с языком литературным – этого не делают и другие языковеды – обычная же публика часто смешивает оба явления” [Stich 2004].

¹¹ Не может не удивлять, что Г. Гладкова почему-то опирается не на чешский оригинал книги (Praha, 1974), а на ее русский перевод (Москва, 1988).

ряде случаев заменять термин литературный язык термином стандартный. Другие доводы, изложенные Д. Брозовичем, нам не кажутся столь существенными, тем более, что в нашей науке достаточно четко различаются понятия “литературный язык” и “язык литературы”» [Там же].

Итак, термин *стандартный язык* неоднозначен, он может использоваться как в связке с термином *литературный*, так и отдельно; его нежелательно употреблять в отношении ранних исторических периодов, в том числе и для начального периода становления литературного языка (Г. Гладкова же употребляет его и при характеристике деятельности И. Добровского). В славистике термин *стандартный язык* используется лишь ограниченным кругом ученых. Вряд ли корректно приписывать его употребление представителям ПЛШ (ср.: “Вполне принимаем все основные положения о характере СЯ выработанные ПЛШ”) [Гладкова, Ликоманова 2002: 151] и в их числе Б. Гавранек¹².

Ниже будет рассмотрена теоретическая глава книги, включающая следующие подразделы: Схема коммуникативного и языкового пространства; Коммуникативное пространство; Коммуникативная сфера; Коммуникативная ситуация; Таблицы соотношения элементов коммуникативного и языкового пространства; Языковое пространство и языковая сфера; Языковая ситуация – типы коммуникации (с внутренней рубрикацией: Капиллярная коммуникация; Культурная коммуникация; Массовая коммуникация); Носитель языка; Норма и вариантность; Разновидность и стиль. Судя по оглавлению, коммуникативный аспект здесь явно доминирует (ср. название подразделов: Участники коммуникации; Сообщение; Контакт; Контекст; Код). Собственно языковая проблематика, в том числе и главная проблема данной работы – языковая ситуация – занимает подчиненное положение, отходя на второй план. Угол зрения аргіогі находится за пределами языкового пространства¹³, в пространстве коммуникативном. Впрочем, и сам раздел о языковой ситуации строится преимущественно на коммуникативных параметрах, т.е. на разграничении типов коммуникации, вычленяемых вдобавок на **разных** основаниях.

Несмотря на сходство организующего структурного принципа (бинарность), **отождествление** строения коммуникативного и языкового пространства не только методически не корректно, но и теоретически и практически бесперспективно, поскольку “наличие причинно-следственных взаимосвязей между коммуникативной и языковой системами, хотя и позволяет экстраполировать схему членения коммуникативного континуума на континуум языковой, тем не менее это не означает полного и абсолютного подобия их внутреннего строения, поскольку языковая и коммуникативная типология осуществляется при учете единиц, релевантных для каждой из этих систем” [Нещипаненко 2003: 39].

Что касается типов коммуникации, то авторы представляют их в виде следующей триады: “капиллярная коммуникация – культурная коммуникация – массовая коммуникация”. Строго говоря, это тоже терминологическое перекодирование: “Высшие коммуникативные функции” > культурная коммуникация; “Непринужденное повседневное общение” > капиллярная коммуникация. Третий компонент появляется в результате вычленения коммуникации массовой из коммуникации культурной. Определенные коммуникативные предпосылки к этому, хотя и имеются (массовость аудитории, специфика каналов распространения информации и пр.), однако они не могут служить достаточным основанием для признания за языком СМІ **автономного** статуса, а тем более для превращения его в некий третий центр. Как бы то ни было, речевой стандарт СМІ все

¹² Перекодирование терминологии, используемой в работах уже ушедших из жизни авторов, вообще, на мой взгляд, недопустимо и может рассматриваться как нарушение авторской воли.

¹³ Ср. определение языкового пространства у Г. Гладковой: “ЯП в нашем понимании – весь языковой инструментарий определенного коммуникативного пространства” [Гладкова, Ликоманова 2002: 63].

же базируется на литературном языке, хотя и отражает процессы, протекающие в языковой ситуации этноса в целом. Не ясно также, почему за рамки раздела о языковой ситуации выведен такой ее важный компонент как *носители языка* и т.п.

Иными словами, возникает множество вопросов, на которые не получаешь ответа, и, напротив, вводится масса аспектов, которые вполне могли бы не рассматриваться, так как они лишь отвлекают внимание от заявленных задач исследования.

При решении проблемы языковой ситуации коммуникативный ракурс совершенно необходим, однако его следует использовать только в той мере, в какой это действительно необходимо для систематизации наших представлений о **языковом пространстве**, для его структурирования, для выявления специфики речевого поведения, для определения круга носителей и пользователей языковых идиомов. Возможно, стоило бы шире привлечь результаты разработки коммуникативного подхода к языку, полученные чешскими учеными и прежде всего специалистами из Института чешского языка Чешской АН (Я. Корженским, О. Мюллеровой, Я. Гофмановой и др.). Думается, это помогло бы избежать столь странных оценок структуры коммуникативного пространства как, например, “Наша схема создает возможность теоретического атомизированного раздробления на стороне КП” [Гладкова, Ликоманова 2002: 60]; “Итак, КП, не теряя своего континуального характера, приобретает вид рельефного ландшафта, в котором наблюдаются отдельные центры (пики) и постепенные переходы (впадины) от одного центра к другому. При этом отдельный центр может быть выделен на основе доминирования только одного признака” [Там же: 31]; “Отмирание социальных и экономических барьеров в обществе приводит к отмиранию коммуникативных барьеров, которые в прошлом четко определялись” [Там же: 33]; ср. также о строении языкового пространства: “ЯП рассматриваемого периода... континуально, рельефно, с плавными перепадами и четкими пиками” [Там же: 66] и пр. Вряд ли это является обещанной моделью коммуникативного и языкового пространства.

При рассмотрении теоретической главы придется затронуть и самый неприятный вопрос.

Говоря о концепции книги, авторы постоянно подчеркивают, каким сложным путем они шли к идее бинарности коммуникативного и языкового пространства: через “объективную интерпретацию языковых фактов”; “методологически опираясь на постулаты Пражской лингвистической школы” и т. п.; ср.: “этот факт является очередным аргументом в пользу правомерности **предложенной нами** в I главе структурной и коммуникативной схемы КП и ЯП” [Гладкова, Ликоманова 2002: 369]; “Основных сфер две... как **мы обосновали** уже в теоретической главе” [Там же: 368] и мн. др. (в обоих случаях выделено нами. – Г.Н.).

В действительности впервые о возможности типологически сходного структурирования как коммуникативного, так и языкового пространства (принцип **бинарного симметричного** строения этнического языка) мною было доложено еще в 1985 г. на заседании Лингвистического объединения ЧСАН в Брно – расширенные тезисы этого доклада “K problému diferenciacie národného jazyka” Г. Гладковой прекрасно известны [Jazykovédné actuality. Informativní zpravodaj československých jazykovědců. Roč. XXIII. 1986. № 1–2].

Систематической разработкой данной проблематики я занималась и в последующие годы¹⁴. Столь длительный срок был необходим для апробации первоначально эвристических предположений на самом разнообразном языковом материале (как синхронном, так и диахронном), уточнения ключевых позиций и понятийно-терминологического аппарата. Не скрою, что приходилось мучительно преодолевать и стереотипы доминирующего в социолингвистике стратификационного подхода в собственном восприятии языковой действительности.

¹⁴ См. по этому поводу фрагмент “От автора” в монографии 2003 г. [Нещименко 2003а]. Пусть читателя не смущает, что во всех цитациях я ссылаюсь на монографию 2003 г. Дело в том, что, как отмечала в своей рецензии М. Крчмова [Křtřmová 2000], мюнхенская книга трудно доступна для специалистов из славянских стран.

Результаты проведенных многолетних исследований показали целесообразность применения предложенного мною подхода не только при функциональной дифференциации этнического языка, но и при изучении проблемы языковой ситуации в целом¹⁵, что и показано в целом ряде моих публикаций¹⁶. Знакомство с этими работами авторы книги предпочитают не афишировать, указывая лишь поздние публикации – монографию 1999 г. [Нещименко 1999] и доклад на съезде славистов в Кракове [Нещименко 1998].

В своих работах я старалась показать, что применение коммуникативного подхода позволяет (в отличие от традиционной стратификационной модели) интерпретировать этнический язык не как монолитную иерархическую структуру с единственным центром в виде самого престижного универсального идиома – литературного языка, а как систему, состоящую из двух автономных, тесно взаимодействующих (как по центру, так и по периферии) подсистем. Соответственно и эволюция этнической языковой ситуации рассматривается мною как результирующая взаимодействия данных подсистем.

Предложенная мною концепция была впоследствии поддержана рядом ученых, которые не только дали себе труд ознакомиться с моими работами, но и увидели в них рациональное зерно, значимое для изучения социалингвистической проблематики¹⁷. Со-

¹⁵ Этим, кстати, обуславливается и изменение названия монографии [Нещименко 2003а].

¹⁶ Из экономии места назову лишь наиболее существенные работы: Функциональное членение чешского языка // Функциональная стратификация языка. М., 1985; Проблема функциональной дифференциации национального языка в аспекте сопоставительного изучения славянских языков // X Международный съезд славистов в Софии. Славянское языкознание. М., 1988; Дихотомия “письменная–устная речь” и “монологическая–диалогическая речь” и их значимость для решения проблемы моделирования строения национального языка // *Writing vs. Speaking: Language, Text, Discourse, Communication*. Tübingen, 1994 (конференция состоялась в Праге в 1992 г.); *Několik postřehů k problému diferenciaci národního jazyka // K diferenciaci současného mluveného jazyka*. Ostrava, 1994; Таксономический vs. коммуникативный подход к проблеме функциональной стратификации этнического языка // Тезисы докладов международной научной конференции “Лингвистика на исходе XX в. Итоги и перспективы”. М., 1995; Два ракурса в изучении проблемы языковой ситуации // Социалингвистические проблемы в разных регионах мира. Материалы международной конференции (Москва, 22–25 октября 1996). М., 1996; *National language: An attempt at differentiation. (A comparative study of Slavonic languages) // Research support scheme Network Chronicle*. Prague, 1996. November (английский перевод большого фрагмента заключения к монографии “Этнический язык. Опыт функциональной дифференциации” в бюллетене Института Открытое общество); К проблеме функциональной дифференциации этнического языка // Русский язык в его функционировании: Тезисы докладов и доклад на международной конференции // Третьи Шмелевские чтения, 22–24 февраля 1998 г. М., 1998; *K některým vývojovým tendencím v současné jazykové situaci // Pocta 650. výročí založení Univerzity Karlovy v Praze. Sborník příspěvků přednesených zahraničními bohemisty na mezinárodním sympoziu v Praze 20.–26. srpna 1998*. D. II. Praha, 1998; Проблемы публичной вербальной коммуникации на рубеже веков // *Linguistik International: Sprachwandel in der Slavia. Die slavischen Sprachen an der Schwelle zum 21. Jahrhundert. Ein Internationales Handbuch. Teil 1–2*. Frankfurt am Main, 2000; О некоторых особенностях современной языковой ситуации и их теоретическом осмыслении // *Komparacija systemów i funkcjonowania współczesnych języków słowiańskich*. I. Opole, 2000; Проблема функциональной дифференциации этнического языка и ее значимость для решения актуальных социалингвистических вопросов // *Člověk a jeho jazyk. 1. Jazyk ako fenomén kultúry. Na počesť profesora Jána Horeckého*. Bratislava, 2000; Динамика речевого стандарта современной публичной вербальной коммуникации: проблемы, тенденции развития // ВЯ. 2001. № 1; *Univerzální a specifické tendence ve vývoji jazyka sdělovacích prostředků // Čeština. Univerzální a specifika. 3. Sborník konference v Brně 22.–24. 11. 2000*. Brno, 2001 и т.д.

¹⁷ Я искренне признательна ученым, откликнувшимся рецензиями на монографию 1999 г.: в чешской научной печати (М. Крчмова – *Sborník prací filozofické fakulty Brněnské univerzity. Řada jazykovědná*. A 48. 2000; П. Сгалл – *Slovo a slovesnost*. Roč. 61. Seš. 1. 2000); в российской (В. Татаринов – *Русский исторический вестник: история–цивилизация–культура–текст*. Международный ежегодник. 2000; Г. Тяпка – ВЯ. 2001. № 6); в болгарской (Н. Николова – *Съпоставително езиковедие*, 2002).

шлюсь в этой связи на “Энциклопедический словарь чешского языка” 2002 г. (см. [Encyklopedický slovník češtiny 2002] словарную статью “Jazyk národní”, авторы: М. Крчмова, Я. Хлоупек), где отмечается, что данная модель отражает динамику форм существования языка, позволяет более точно определить степень их престижности: “Тем самым устраняется априорно декларируемая граница между литературностью и нелитературностью, которая при традиционном подходе к национальному языку считается основополагающей (перевод наш. – Г.Н.)”. Как “наиболее соответствующая современной чешской (и, очевидно, не только чешской) языковой ситуации” расценивается предлагаемый подход и в коллективной монографии “Tváře češtiny” [Tváře češtiny 2000: 12].

Принципиальное значение в моей концепции имеют две оппозиции: *регулируемое – нерегулируемое* (с ослабленной регулируемостью) *речевое поведение; носитель – пользователь языка*. Подчеркиваю, что речь идет именно о выстраивании оппозиции, а не об использовании этих понятий порознь. Понятия *носитель/пользователь языка* в различных терминологических традициях использовались и ранее, однако лишь рассмотрение их как членов оппозиции позволяет понять специфику эволюции языковой ситуации, оценить реальное состояние языковой культуры (на любом историческом этапе), прогнозировать развитие вербальной коммуникации с учетом изменения пропорциональной представленности носителей и реальных пользователей того или иного языкового идиома. Кстати говоря, применение оппозиции *носитель – пользователь* позволяет говорить о современном состоянии речевой культуры (в том числе и в СМИ) не как о кризисе, а как о лингвистически, социально и исторически обусловленном явлении [Нещименко 2001]. Не могу согласиться с оценкой Г. Гладковой современного состояния чешской и болгарской языковой культуры как кризиса: “Можно ли назвать... сегодняшнее положение и развитие этих стандартных языков (болгарского и чешского. – Г.Н.) *периодом их упадка*, что прямо-таки напрашивается, я не берусь судить. Но о определенном кризисе их функционирования говорить можно с основанием” [Гладкова, Ликоманова 2002: 377]. В унисон звучит и следующая оценка: “У активных участников культурной коммуникации требование степени образования континуально повышается и будет повышаться, но языковая компетенция все больше становится только на службу специальному образованию и постепенно сводится только до уровня, который непосредственно влияет на качество упражнения профессии. К счастью, в настоящий период глобализации и информационной революции коммуникативные компетенции требуются все более настойчиво от все большего круга участников коммуникации. Изменения в учебных программах в связи с этим уже постепенно прокрадываются, благодаря также и сравнительному высокому их уровню в западных странах” [Там же: 99].

В июне 1999 г. в Праге, уже после выхода моей монографии в Мюнхене, Г. Гладкова и И. Ликоманова предложили мне объединиться с ними для того, чтобы **на основе концепции, изложенной в моей монографии 1999 г.**, написать большую работу о языковой ситуации в славянских странах. Была достигнута и договоренность о начале сотрудничества в 2000 г., сразу же после завершения ими в конце 1999 г. монографии по контракту с Фондом Дж. Сороса¹⁸. После состоявшихся переговоров с потенциальными партнерами наступило продолжительное молчание. В конце октября 2000 г. состоялась встреча с Г. Гладковой в Дрездене на заседании Международной комиссии по славянским литературным языкам при МКС. Свой доклад “Опыт интерпретации развития современной языковой ситуации” она начала словами: “Здесь присутствует Галина Нещименко, которая может подтвердить, что мы пришли к одной и той же концепции **одновременно и абсолютно независимо друг от друга** (выделено нами. – Г.Н.)”¹⁹. После этого ею были представлены с некоторыми модификациями моя концепция и схемы. В ходе развернув-

¹⁸ Кстати говоря, это именно та монография, которую мы здесь анализируем.

¹⁹ Непонятно, зачем в таком случае понадобилось предлагать мне сотрудничество, вдобавок на основе моей концепции, если уже существовала их собственная!

шейся дискуссии Г. Гладкова подытожила, что доложенная концепция является творческим синтезом ее собственных идей и Пражского лингвистического кружка. Эту же фразу, многократно повторяемую в данной книге, она, судя по болгарскому журналу "Българистика", воспроизвела и при вручении ей премии Болгарии за эту работу (эта же работа была защищена ею в Праге в качестве диссертации на звание доцента).

Опубликованная на основе дрезденского доклада Г. Гладковой статья начинается фразой: "На основе теоретической модели языковой ситуации, предложенной в работе Гладкова; Ликоманова (в печати, ср. схему на этой странице), разворачивающей схему Г. Нецименко (1999, 48), с учетом ряда других социолингвистических трудов последнего времени (в особенности Starý 1995, Nebeská 1995, Daneš a kol. 1997, Wilkoř 2000, серии опольских трудов Współczesne języki słowiańskie и др.)" [Гладкова 2002: 56]. Примечательно, что ни в одной из называемых работ проблема дифференциации этнического языка не рассматривается (во всяком случае в подобном ракурсе), что, впрочем, отнюдь не умаляет их научной значимости. Беглое же упоминание о "расширении" моей схемы и реальное заимствование концепции – совсем не одно и то же. Будем, впрочем, справедливы: в книге двух авторов ссылки на мою монографию 1999 уже более многочисленны, однако суть дела от этого не меняется.

В своей книге Г. Гладкова и И. Ликоманова следующим образом характеризуют специфику применяемого ими подхода:

– разграничение языковых и коммуникативных явлений в форме коммуникативного и языкового пространства;

– коммуникативное пространство является первичным, а его параметры и признаки находят свое отражение, с одной стороны, в структурировании языкового пространства **симметрично** (выделено нами. – Г.Н.) к коммуникативному (проявление однотипных параметров), а, с другой стороны, и в **конкретном речевом поведении** коммуникантов (влияние конкретной коммуникативной ситуации);

– строение коммуникативного и языкового пространства является **бинарным** (выделено нами. – Г.Н.).

Представим тезисно суть моего подхода к проблеме:

“а) обеспечение коммуникативных потребностей является **важнейшей** функцией языка;

б) между коммуникативным и языковым континуумами существует **причинно-следственная** взаимосвязь;

в) коммуникативный и языковой континуумы имеют **симметричное** строение, причем членение первого из них предопределяет членение второго;

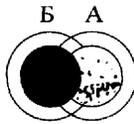
г) общая конфигурация модели этнического языка представляет собой **проекцию** коммуникативной модели на плоскость языкового пространства” [Нецименко 2003а: 39].

Что касается членения языкового пространства, то в моей монографии подчеркивается, что оно “предопределяется членением пространства коммуникативного, являясь ему **симметричным**. В силу этого проекция коммуникативного континуума с его бинарной структурой на плоскость вербальной коммуникации позволяет получить бинарное членение языкового пространства, в соответствии с которым каждый коммуникативный ареал имеет свое языковое обеспечение” [Нецименко 2003а: 45].

Таким образом, подытоживалось, что в основе как коммуникативного, так и языкового пространства лежит один и тот же организующий принцип – принцип бинарности. Соответственно “совокупность двух коммуникативных ареалов составляет комплектное коммуникативное пространство; совокупность двух подсистем языкового обеспечения – комплектное языковое пространство” [Нецименко 2003а: 46].

Принципиальное сходство обнаруживается и в схемах, и в таблицах. Ср.: монографию [Нецименко 2003а: 57]:

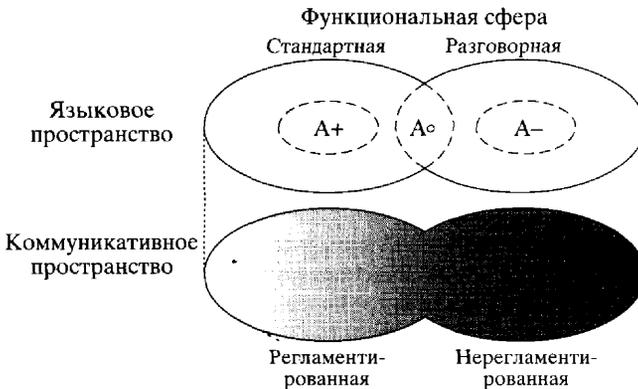
Коммуникативная модель



А – подсистема регулируемого речевого поведения

Б – подсистема нерегулируемого речевого поведения

Монография [Гладкова, Ликоманова 2002: 16], а также статья Г. Гладковой 2002:



В дальнейшем будет показано, как деформировалась в “Монографии 2002”, равно как и в статье Г. Гладковой в дрезденском сборнике суть моей концепции.

При дифференциации коммуникативного пространства на два ареала я исходила из характера коммуникативных функций: высшие коммуникативные функции²⁰ – непринужденное повседневное общение. Соответственно членение языкового пространства предопределялось характером языкового обеспечения этих ареалов, при этом особенно акцентировалась целесообразность отказа от соотносения подсистем языкового обеспечения “с каким-то конкретным языковым идиомом. Это связано с тем, что языковая манифестация в обоих случаях, во-первых, может быть **множественной**; во-вторых, она не является **жестко предопределенной**, так как выбор языкового идиома в конечном итоге зависит от языковой компетенции индивидуума. Сказанное в полной мере относится и к понятию *разговорный язык*, интерпретируемому нами не как конкретная языковая манифестация, а как совокупное обозначение, своего рода функциональное звено, включающее в том числе и диалекты. Языковое обеспечение этого функционального звена в решающей степени зависит от **коммуникативной комфортности** индивидуума, что совершенно необходимо для ситуации непринужденного общения. Таким образом, индивидуум имеет определенный диапазон возможностей, в рамках которого он в соответствии со своей языковой компетенцией, коммуникативным и речевым стандартом, интеракцией с собеседником отбирает языковые средства, необходимые для построения высказывания” [Нещименко 2003а: 46–47].

Принципиальное значение имеет и то, что каждая из подсистем языкового обеспечения характеризуется специфическим типом речевого поведения, предопределяющим

²⁰ Данным термином пользуюсь вслед за некоторыми учеными, например, Я. Хлоупеком. Не претендую, разумеется, на приоритет и в употреблении самого понятия *бинарность*. Важно лишь то, что оно используется при решении новых исследовательских задач и на новом материале.

особенности построения текста, подключение невербальных средств и пр.: в первом случае это **регулируемое** речевое поведение, контролируемое не только внешней языковой цензурой (редакторская правка, соблюдение кодификации и пр.), но прежде всего, и это особенно важно, речевой самодисциплиной субъекта, т.е. автоцензурой²¹. Во втором ареале (языковое обеспечение непринужденного повседневного общения) – иной тип речевого поведения, условно называемый **нерегулируемым**. Он отличается ослабленным речевым самоконтролем (иногда и полным его отсутствием), повышенной экспрессией, свободным потоком сознания (специально оговаривается, что роль речевого контроля здесь настолько незначительна, что может быть элиминирована).

Мною специально уточнялось, что речь идет именно о **регулируемом**, а не **регламентируемом** речевом поведении, поскольку последнее предполагает достаточно жесткую заданность выбора используемых языковых средств, наличие строгих предписаний, с которыми индивидум **должен** так или иначе считаться. При регулируемом речевом поведении подобная категоричность отсутствует, акцент делается прежде всего на сознательном саморегулировании речевого поведения, хотя существенно и внешнее языковое корректирование.

С учетом множественной манифестации каждой из подсистем языкового обеспечения появляется возможность вычленив в их составе **центр** и **периферию**. Это в свою очередь позволяет определить систему этнического языка как **бицентрическую** (терминами *бифокусный*, *биполюсный*, вопреки утверждению Г. Gladkoy, я не пользуюсь), состоящую из двух автономных, но вместе с тем тесно взаимодействующих подсистем, между которыми нет жестких границ.

Авторы “Монографии 2002” идут другим путем. При анализе приведенной выше схемы видно, что, хотя Г. Gladkova и И. Ликоманова и выделяют в составе коммуниктивно-го и языкового пространства две сферы, однако они не только иначе названы, но и имеют иное функциональное назначение. Так, коммуникативное пространство расчленяется на регламентированную и нерегламентированную сферы; а языковое – на стандартную и разговорную.

Таким образом, дифференциация коммуникативного пространства у них основывается не на его собственных параметрах, а на параметре, привнесенном из языкового пространства, т.е. типе речевого поведения, что, на мой взгляд, методически не корректно. Мало того, в основе дифференциации языкового пространства находится соотношение с **конкретной** языковой манифестацией: сфера использования стандартного языка – сфера использования разговорного языка.

Используемое мною противопоставление *регулируемое – нерегулируемое речевое поведение* авторы отвергли: “Все коммуникативные параметры разбивают КП на две части, названные у нее (Г. Нецименко. – Г.Н.) ареалами регулируемого и нерегулируемого речевого поведения, проецируясь на языковое пространство в явлениях типа стандартного языка и разговорной речи (Нецименко 1999: 38). Мы оставляем за этими понятиями термин **сфера**, стараясь избежать лишнего осложнения терминологии, но подчеркивая, с другой стороны, определенной опасности двоякого значения данного термина...” [Gladkova, Likomanova 2002: 25]. И здесь же: “мы считаем полезным заменить термин (не)регулируемое речевое поведение термином **(не)регламентированной** (с точки зрения коммуникативного поведения) сферой..., считая, что наш термин более удачно передает сущность этой оппозиции: в ней на основе коммуникативной деятельности общества, т.е. традиции, консенсуса, нормы, *регламентирован* определенный тип коммуникативного поведения”²². Интересно, можно ли считать подобное объяснение убедительным?

²¹ Возможна и корректировка данного термина – *авторегулирование* – с учетом нежелательных политических коннотаций у слова *цензура*.

²² Данное определение не только представляет собой “порочный круг”, оно включает вдобавок “тип коммуникативного поведения”, суть которого эксплицитно не разъясняется. Признаюсь, у нас возникло одно, возможно, нескромное предположение: “а что, если именно мы сами невольно толкнули авторов на эту терминотворческую эквилибристику?”. Впрочем, если бы они сохранили в своих схемах исконные надписи, имеющиеся в моей монографии, то тогда можно было бы говорить не просто о научной преемственности, а уже о чем-то совсем другом!

В связи с этим считаю необходимым уточнить:

– речевое поведение есть фактор **языкового**, а не коммуникативного пространства. Несмотря на то, что оба эти пространства взаимодействуют друг с другом, их не следует отождествлять;

– замена термина *регулируемый* на *регламентируемый* неправомерна. Если же это по каким-то соображениям и делается, то необходимо разъяснить соотношение терминов *регламентируемый* и *кодифицируемый*, поскольку последний как раз и предполагает языковую регламентацию;

– языковое обеспечение того или иного коммуникативного ареала не следует связывать с каким-то **одним** идиомом, даже если это *стандартный* язык. Как правило, речь идет о некотором **множестве** языковых манифестаций, что позволяет дифференцировать в рамках каждой из подсистем языкового обеспечения центр и периферию. В качестве такого центра выступают литературный язык (языковое обеспечение высших коммуникативных функций) и формирующийся субстандарт²³ в подсистеме языкового обеспечения непринужденного повседневного общения;

– не следует рассматривать как рядом положенные конструкт (разговорный язык) и конкретный идиом, даже если это “стандартный” язык. Перечень можно продолжить.

Разумеется, авторы книги были вправе отказаться от оппозиции “регулируемость – нерегулируемость”, но тогда не ясно, почему они к ней иногда прибегают (“регулировать свое поведение”, “нерегулируемая, нерегламентированная сфера” [Гладкова, Ликоманова 2002: 25]; “СЯ очевидно является классическим примером социальной институции как комплекса норм, которые **регулируют** поведение индивидов, помогая им удовлетворить определенные потребности (выделено нами. – Г.Н.)” [Там же: 152]. Мало того, схема, отражающая оппозицию “регулируемость – нерегулируемость”, возможно, по недосмотру, включена в англоязычное резюме книги²⁴.

Учитывая значимость, придаваемую авторами оппозиции *регламентированная – нерегламентированная* сфера, постараюсь установить, как они интерпретируют термин “регламент”, являющийся ключевым. А истолковывается он крайне противоречиво: “Регламент (**контроль**) собственного поведения” [Гладкова, Ликоманова 2002: 47]; “регламент коммуникативного поведения, соотносимый на языковой плоскости с **нормой**” [Там же: 127]; “регламент (**норма**) поведения в данной коммуникативной сфере как основная причина различий речевого поведения” [Там же: 11]; “Регламент поведения (а на языковой плоскости – **разновидность**)” [Там же: 74]²⁵; “регламент речевого поведения остается закреплен как **матрица** за всеми функциональными сферами, которые сформировались в лоне культурной коммуникации” [Там же: 103]; “решающую роль играет факт самой *фиксации* текстов, которая подчиняет все больше речевое поведение в ней не конкретной КСит, а **языковому регламенту, норме...**” (везде выделено нами. – Г.Н.) [Там же].

Нельзя не заметить постоянное смешение коммуникативных и языковых признаков. Своеобразно истолковывается и термин *коммуникативная ситуация*. Обычно в литературе под ним понимается сниженный уровень абстракции, т.е. конкретная коммуникативная ситуация, “микроситуация общения” [Нещименко 2003а: 39]. В понимании Г. Гладковой ему **одновременно** соответствуют два уровня абстракции: высший (аналог по отношению к понятию *языковая ситуация*) и сниженный (см. выше). Причем, уста-

²³ С обозначением этого феномена существуют трудности, о чем уже упоминалось в тексте моей работы.

²⁴ Эффективность использования данной оппозиции подтверждает и решение иной исследовательской задачи – определение лингвистического статуса языка компьютерных диалогов. Так, удастся установить, что язык так называемых “чатов” не относится, как полагают многие, в том числе и Г. Гладкова, к нерегламентированной сфере, а, напротив, манифестирует **регулируемое** речевое поведение [Нещименко 2004 (в печати)].

²⁵ Ср. определение регламента в Академическом словаре иностранных слов (Прага 1995): ‘предписания, распоряжения, правила’.

новить, какой уровень абстракции имеют авторы в виду в каждом конкретном случае, не всегда удается.

Противоречива и даже разрушительна сама характеристика оппозиции “регламентированность – нерегламентированность”; ср.: “основная разница между сферами (регламентированной и нерегламентированной. – Г.Н.) не заключается в абсолютном отсутствии или присутствии регламента, а в его природе: в регламентированной сфере он имеет характер селективного, ограничивающего принципа организации, в нерегламентированной – неселективного, взаимодопускающего принципа организации” [Гладкова, Ликоманова 2002: 39–40]; “Благодаря различному характеру регламента в двух основных коммуникативных сферах, ощущения (дис)комфорта в случаях его несоблюдения различны... мера владения регламентом в нерегламентированной сфере более высока” [Там же: 45]. Ср. приводимые определения сфер регламентированного и нерегламентированного коммуникативного поведения: “Сфера, для которой характерен по традиционным описаниям сознательный контроль речевого поведения и в которой коммуникант подчиняется влиянию регламента, контролирует или, по крайней мере, старается контролировать свое поведение, названа нами условно *регламентированной*” [Там же: 34] и соответственно: “Сферу, в которой такого категоричного давления регламента не ощущается, мы условно назвали *нерегламентированной*” [Там же: 38].

На наш взгляд, оперировать подобной оппозицией, которая вдобавок вовсе и не оппозиция, весьма затруднительно; ср.: “Функционирование различных идиомов в капиллярной коммуникации как основных для нерегламентированной КСф в общем плане необходимо оценивать также с точки зрения **характера регламента**” [Там же: 87]. В последнем высказывании наблюдается не только смешение коммуникативных и языковых факторов, но разрушается и сама декларируемая оппозиция.

Вследствие недостаточно четкого разграничения авторами коммуникативных и языковых параметров эта антиномия фактически “сползает” на языковой уровень. И здесь то читателя поджидает серьезное осложнение, поскольку на языковом уровне она пересекается с другими оппозициями, существенными для структуризации языкового пространства: а) нормированность – ненормированность; б) кодифицированность – некодифицированность; в) литературность – нелитературность (ср. вычленение стандартной и разговорной сфер).

Таким образом, на языковой плоскости регламентированность пересекается с нормированностью, кодифицированностью, литературностью; соответственно нерегламентированность – с ненормированностью, некодифицированностью, нелитературностью. Поскольку оппозиция *кодифицированность – некодифицированность; литературность – нелитературность* в лингвистике уже давно используются, то ничего нового привнести не удается. Непросто и с оппозицией *нормированность – ненормированность*, поскольку, следуя теоретической концепции Пражской лингвистической школы, нормированными являются не только литературный язык, но и диалекты; ср. у Б. Гавранека: “Народный язык имеет свою собственную норму, т.е. набор языковых средств, грамматических, лексических (структурных, неструктурных) (перевод наш. – Г.Н.)” [Navránek 1963: 30].

Нельзя не отметить, что обособление стандартной сферы, ориентированной на **конкретную языковую манифестацию**, по сути, аннулирует возможность ее внутренней дифференциации на центр и периферию, поскольку периферия попросту отсутствует, имеется лишь центр, т.е. стандарт. Вызывает удивление, как уже отмечалось, вынесение такого важного понятия, как *носитель языка*, за рамки рассмотрения проблемы языковой ситуации.

Допускаю, что могут быть претензии по поводу моего перевода термина *mluvčí*, однако в чем их суть, установить невозможно, так как даже источник цитирования в книге не указывается; ср.: “не вдаемся в подробности, как чешский термин переведен на русский язык в разных переводах того же автора (а переводился он по-разному). Она (Нещименко. – Г.Н.) предложила разграничивать носителя языка от пользователя языка. Нам эта

аргументация кажется необудительной, а даже местами противоречивой” [Гладкова, Ликоманова 2002: 113].

Отрицая мою точку зрения, как это уже не раз бывало, авторы на практике используют многие положения, в лучшем случае в видоизмененном, в худшем – в искаженном виде.

Перечень параметров, указываемых Г. Гладковой и И. Ликомановой при определении понятия *носитель языка* (в данном случае стандартного), вызывает сомнения; ср.: «1. располагает активным знанием одной или нескольких разновидностей разговорной сферы (напр. РР) и пассивным знанием СЯ. 2. активно владеет нормой СЯ в результате осознанного или профессионального отношения к СЯ (гуманитарий). 3. артикуляционно вписывается в круг носителей НЯ (“говорит без чужого акцента”). 4. способен воспринимать и понимать (если не в состоянии сам их создать) разновидности НЯ, которыми не владеет (другие диалекты или субстандартные идиомы), творчески использовать структурные возможности языка, расшифровывать интертекстуальные коннотации, элементы языковой игры и определять их стилевую окраску» [Гладкова, Ликоманова 2002: 23]. Спорно и отнесение к носителям языка “не только людей, которые родились или воспитывались в семье хотя бы одного носителя языка по этим признакам (обыкновенно матери), но также и тех пользователей языка, которые значительную часть жизни провели вне данного коммуникативного и языкового пространства, но в семье с другими носителями данного языка... хотя, очевидно, их коммуникативная компетенция может быть ограничена” [Там же: 120]. При данной интерпретации происходит смешение понятий *языковая компетенция* индивидуума и его *этническая принадлежность*, причем доминирующую роль играет именно последний фактор. Не учитывается и то, что у названных лиц зачастую ослабевает языковое чутье, знание реалий, конситуации, отсутствует и четкое осознание внутриязыковых закономерностей, например, словообразовательной специфики и пр.

Состав носителей так называемой РР здесь вообще не приводится, поскольку это “наиболее скользкое понятие” [Там же: 123]. Подобный аргумент не убеждает.

Одним из важных недостатков “Монографии 2002” является противоречивость, непоследовательность интерпретаций²⁶. Приведем несколько примеров: (смешение коммуникативного и языкового пространства) “Выделением из общего КП СЯ не перестает быть его составной частью” [Там же: 94]; “СЯ формируется вначале как элитарный, а позднее как общепринятый, престижный вид **коммуникативного** поведения (выделено нами. – Г.Н.)” [Там же: 152]; (о языке СМИ) “Язык массовой коммуникации перестает функционировать как эталон стандартного речевого поведения” [Там же: 109], но: “Функционирование в массовой коммуникации СЯ – константа, социально закрепленная, принявшая облик ритуализированного поведения ...” [Там же: 111]. Непоследовательность проявляется при рассмотрении вопроса о разграничении сфер коммуникативного пространства. Так, в одних случаях говорится об отсутствии между ними жестких границ; в других – “размывая еще больше границы... между двумя основными КСф” [Там же: 110] или же “Нарушение и размывание границ двух основных КСф” [Там же: 367].

Весьма спорной является оценка состояния чешской языковой ситуации, а также характерных для нее тенденций. В тексте монографии эти фрагменты рассредоточены, что мешает получить целостное впечатление. Высказываемые наблюдения чаще всего основываются не на анализе конкретного языкового материала, а имеют откровенно дедуктивный характер, отражая влияние тех или иных концепций, в том числе и социологических. Проявляется это и в рассуждениях о культурной элите общества, ее речевом узусе. К сожалению, по большей части мы сталкиваемся здесь лишь с теоретизированием. Некоторые констатации настолько туманны, что мы не берем их расшифровывать; ср.: “Языковая компетенция постепенно дальше модифицируется из средства

²⁶ При чтении книги часто вспоминалось давнишнее наставление С.Б. Бернштейна: “Концепция может быть и неверной – важно, чтобы она была проведена последовательно”.

образования в средство упражнения профессии” [Там же: 98]. Сомнения вызывает и утверждение, что “речевое поведение современной элиты становится образцом поведения не на основе его объективно высокого качества, а на основе того, что позиция активных участников культурной коммуникации принимается как престижный социальный образец по совсем другим причинам” [Там же: 98]. Ср. далее оценку уровня языковой компетенции в СМИ: «Престижность, эталонность их (журналистов. – Г.Н.) речевого поведения уже не базируется на его “качестве” по отношению к СЯ, а именно на важности роли, которую они играют в обществе» [Там же: 106–107]. Можно рекомендовать Г. Гладковой ознакомиться с очень интересными результатами опроса, проведенного Институтом чешского языка в 2003 г., а также со статьей К. Каргановой [Karhanová 2004]. Результаты анкетирования красноречиво говорят о критической, причем весьма нелицеприятной, оценке речевых особенностей весьма высокопоставленных, “элитарных”, персон.

Г. Гладкова полагает, что в недалеком будущем массовая коммуникация станет не только новой языковой сферой, но и превратится в “третий центр” языковой ситуации, возникающий на пересечении обеих ранее выделенных коммуникативных сфер. К сожалению, в настоящее время подобное еще не случилось, так как “ЯСит не позволяет... формирования новой ЯСф, а заставляет массовую коммуникацию выработать норму речевого поведения на основе бицентричного построения ЯП” [Гладкова, Ликоманова 2002: 109]. Невзирая на это, “в современной ЯСит капиллярная коммуникация с присутствием ей языковым поведением становится образцом для поведения в сфере массовой коммуникации” [Там же: 88]. Ошибочность данного утверждения очевидна. Невозможно согласиться и с соображениями по поводу “изменения характера активного участника массовой коммуникации: смена индивидуального, персонального авторства, характерного для культурной коммуникации, коллективным, даже анонимным авторством, типичным для массовой коммуникации (коммуникаторами представляются не отдельные лица, а специализированные организации – редакции, агентуры, медиальные корпорации и пр.)” [Там же: 107].

Что касается русских СМИ, то в них происходило как раз обратное: на смену дикторам с середины 80-х годов пришли ведущие, востребованной стала авторская личность, в том числе и ее индивидуальная речевая стилистика. Возразила бы я и против использования заимствованного у нас термина “массовизация” в значении “деперсонификации” коммуникаторов (ср. [Там же: 108]).

Отсутствует четкая авторская позиция и при определении лингвистического статуса важнейших структурных компонентов языковой ситуации, например, РР²⁷. Так, в монографии И. Ликомановой [Ликоманова 1994] РР включалась в состав литературного языка на правах разговорного литературного языка. В “Монографии 2002” лингвистический статус этого феномена четко не определен: он то трактуется как обобщенное понятие “разговорный язык в целом”, то как центральная разновидность внутри разговорного языка. Причем, с одной стороны, РР характеризуется как “невыкристаллизованная структура” [Там же: 148], «у РР лишь “тенденция к оформленности”» [Там же]; с другой, как сложившаяся языковая разновидность: “У отдельных разновидностей НЯ, какими считаем стандартный язык, разговорную речь и диалекты (в отличие от всех других -лектов, типа социолектов, сленгов, юниолектов, маргилектов и пр.)” [Там же: 149] или же “СЯ и КЯ (коллоквиальный язык. – Г.Н.) как центральные разновидности обеих сфер, но не и диалект” [Там же: 369].

Иными словами, один и тот же феномен рассматривается и как сформировавшаяся разновидность, и как обобщенное понятие, т.е. конструктор, который почему-то вступает в конкуренцию с вполне конкретным языковым идиомом, со стандартным языком.

²⁷ Определению статуса РР и его аналога КЯ (коллоквиальный язык) авторам следовало бы вообще уделить больше внимания, поскольку его толкование неоднозначно как в лингвистике вообще, так и у авторов данного исследования.

Примечательно и соотношение нормы РР и СЯ: “сближение норм СЯ и РР” [Там же: 136]; “углубление разрыва между СЯ и РР” [Там же: 137].

Трудно согласиться с высказываниями Г. Gladkova по поводу конкуренции *стандартного* и *коллоквиального*, т.е. разговорного языка. Так, по ее мнению, последний может “сильно конкурировать со СЯ, поскольку является коммуникативно более комфортным и с этой точки зрения более выгодным, экономичным. Противопоставление СЯ и КЯ в регламентированной сфере нейтрализуется, а сфера нейтрализации регламентированного поведения расширяется” [Там же: 388]. Между тем эти феномены не могут конкурировать друг с другом, ни “сильно, ни слабо”, так как имеют разную природу: литературный язык – это конкретный идиом, в то время как так называемый КЯ пока что является все же конструктом. Мало того, использование литературного языка соответствует речевому стандарту данного коммуникативного ареала, чего нельзя сказать о разговорных идиомах. Другое дело – интерференция отдельных элементов этих феноменов на уровне текста. Сказанное, разумеется, не исключает, как указывалось в наших работах, что лица со сниженной языковой компетенцией могут использовать в ареале высших коммуникативных функций привычный для них речевой узор, однако это речевое поведение, несомненно, будет маркированным, оставаясь на периферии подсистемы. Остается также не ясным, что имеет в виду исследовательница, говоря о нейтрализации противопоставления СЯ и КЯ в сфере регламентированного поведения и пр. В разделе о массовой коммуникации встречается чрезвычайно спорное утверждение о том, что “Массовая коммуникация неминуемо должна конкурировать именно с другой, уже существующей языковой нормой общесоциального характера – с РР” [Там же: 88]. Можно лишь недоумевать, как тип коммуникации может конкурировать с языковым идиомом. Это феномены принципиально различной природы, они отнюдь не являются изофункциональными, что изначально исключает возможность возникновения конкуренции.

Соблюдая верность традиции, Г. Gladkova не включает диалекты в состав разговорной речи – последняя ею определяется как “территориально неограниченная разновидность, или же приближающаяся к такому состоянию” [Там же: 147]. Иными словами, территориальные диалекты “выводятся за скобки”, они обречены, о чем в книге говорится с жесткой категоричностью: “Диалекты отмирают, обречены на гибель” [Там же: 87]. Моя позиция по данному вопросу отличается, что и подкрепляется соответствующей аргументацией, приводимой в монографиях, к текстам которых можно было бы отослать читателя. Добавлю лишь, что в большинстве славянских языков, включая и болгарский, и русский и т.д., региональные идиомы характеризуются значительной сохранностью, в силу чего нет основания выводить их за рамки современной разговорной речи.

С обличительным пафосом говорит Г. Gladkova об устной разновидности чешского литературного языка; ср.: “Искусственность, дезидеративность, характер конструкта остается клеймом устной формы ЧСЯ (чешского стандартного языка. – Г.Н.) до сих пор. Споры о идиоме *hovorová čeština* так и не стихают. В чешском языке различия двух основных разновидностей НЯ (*hovorová*, т.е. *mluvená spisovná čeština* – *obecná*, т.е. *kolokviální čeština*) сигнализируются рядом очень ярких фонологических и морфологических черт... О существовании отдельной наддиалектной субстандартной разновидности уже давно никто не спорит... То, что менее известно особенно иностранцам, это факт, что *obecná čeština* как разновидность НЯ отнюдь не едина, а существует целый ряд ее вариантов (как минимум чешская, моравская и силезская)” [Там же]. Данное категоричное высказывание более чем спорно. Позиция по этому вопросу изложена мною в ряде работ, в том числе и в более ранней публикации [Нещипенко 1985]. Интересные трактовки этого феномена содержатся в блестящих работах Б. Гавранека, Я. Белича, К. Гаузенблаза, А. Едлички, Я. Хлоупека, Ф. Данеша, Я. Корженского, П. Сгалла и мн. др. Нам не остается ничего другого, как вновь повторить, что одна из трудностей описания чешской языковой ситуации заключается в **неоднозначности** интерпретации термина *hovorová čeština*, который истолковывается и как *разговорный литературный язык*, и как

устный литературный язык, что не одно и то же. Подобная полисемия лишь запутывает дело. Авторы книги, владеющие русским языком, надеюсь, согласятся, что в русском переводе эквивалентом термина *hovorová čeština* будет *разговорный литературный язык*; соответственно эквивалентом описательного обозначения *mluvená spisovná čeština* – *устный литературный язык*. Смещение определений *устный* и *разговорный*, столь характерное для социолингвистических описаний целого ряда языков, о чем я также упоминала, затрудняет их сопоставительное изучение. Если бы термин *hovorová čeština* устойчиво интерпретировался как *устный литературный язык*, тогда, очевидно, не было бы проблем, однако трактовка его одновременно и как разговорного idioma создает трудности (сходная ситуация возникает и при интерпретации феномена *разговорный литературный язык* применительно к русской языковой ситуации). Приводимые факты являются дополнительным подтверждением нежелательности терминологической полисемии.

Что касается чешской языковой ситуации, то здесь более прочные позиции занимает феномен *obecná čeština*. Этот термин также полисемичен, однако это полисемия иного рода, с выраженной региональной подоплекой. Кстати говоря, термин *obecná čeština* имеет больше значений, чем указывает Г. Гладкова, что также усложняет дело. В настоящее время под идиомом *obecná čeština* подразумевается прежде всего **среднечешский** речевой узус. Попытки его “канонизации” в качестве **общечешского** разговорного узуса наталкиваются на сопротивление, в частности в Моравии.

Ныне в богемистике актуален не столько вопрос о феномене *hovorová čeština*, сколько о возможности включения элемента идиома *obecná čeština* в литературный узус, в том числе и в письменный. Именно эта проблема является предметом полемики и основой всех споров вокруг кодификации. Кстати, вызывает недоумение политизация Г. Гладковой конфликта вокруг реформы правописания в Чехии в 1992 г. Так, в неприязни “культурной элитой общественности” реформы правописания она видит проявление большей свободы в “посткоммунистических обществах” [Гладкова, Ликоманова 2002: 383]. Уместно задать вопрос, как она тогда объяснит неприятие реформы правописания при социализме, в начале 80-х годов, когда в результате протестов общественности²⁸ реформа правописания, равно как и деятельность Орфографической комиссии были приостановлены? Известно, что правописание является одной из наиболее консервативных языковых зон²⁹, поэтому вмешательство в нее чаще всего воспринимается болезненно, тем более, что это связано со “святой святых” – литературным языком. Подтверждением этого является судьба языкового закона и реформы орфографии в России.

Особое место в книге занимает глава о периоде национального возрождения, когда проблемы национального самоопределения, возрождения национального литературного языка, культуры, этнических традиций приобрели первостепенное значение. Здесь Г. Гладкова проявляет профессионализм и хорошую осведомленность в литературе вопроса. Положительно и то, что происходящие процессы чаще всего рассматриваются в контексте эпохи. Политизация, “осовременивание”, хотя и проявляются, но все же более умеренно. Меняется и тональность изложения: автор более уважительно относится к мнению специалистов (например, К. Гутшмидта, Н.И. Толстого, Г.К. Венедиктова, Е.И. Деминой и др.). Вполне возможно, что в данной главе представлены результаты более ранних публикаций, когда идеологическая переоценка, видимо, еще не была актуальной. Раздел основывается не на прямых, а на **косвенных** источниках, т.е. граммати-

²⁸ В то время бурную реакцию общественности вызвало интервью, предоставленное газете “Вечернее Брно” руководителем Орфографической комиссии.

²⁹ Примечателен комментарий Е.Д. Поливанова в упомянувшейся выше статье: “В виде общего правила письмо (т.е. орфография) оказывается более консервативным, чем произношение... и более прогрессивная область явлений – устная речь обычно влияет на более консервативную, т.е. на орфографию, в результате чего орфография изменяется вслед за соответствующими изменениями произношения, хотя иногда и опаздывает при этом на полтысячи и более лет” [Поливанов 1968: 219].

ках, лингвистических сочинениях, а, самое главное, на работах **других** исследователей. В связи с этим громоздкое умозрительное построение, сконструированное в теоретической главе, здесь остается не востребуемым, лишая нас возможности наблюдать, как оно “работает” в материале.

Несколько слов по поводу чешских возрожденческих параллелей. Поскольку Г. Гладкова не работала непосредственно с текстами, ее оценка языковой практики того периода не только не полна, но и носит односторонний характер³⁰. Так, в частности, нельзя судить о литературной продукции того времени лишь по деятельности поэтической школы А. Пухмайера. Не учитывается и языковой уровень газетных публикаций того времени, а он совсем не так архаичен³¹. Выходившие в ту пору газеты и журналы ставили перед собой не только просветительские и патриотические задачи, нередко они использовались как средство проведения языковой политики (ср., например, редакционные комментарии, рекомендующие заменять заимствованные слова чешскими: *vm. kanál – oužlabí*; *vm. parasol – stínidlo*, дословно ‘средство, дающее тень’, т.е. ‘зонтик от солнца’). В имеющейся у меня картотеке подобных примеров не мало, в частности из “Почтовой газеты” за 1791 г.). Более разнообразным в этот период было и литературное творчество (см. [Нещименко 1968]). Ценный материал о языке эпохи чешского возрождения содержат исследования П. Гаузера, А. Камиша, Э. Дворжака и др., однако он здесь не учитывается.

Как я упоминала в статье о Й. Добровском [Нещименко 2003б], для того, чтобы составить объективное представление о нем и эпохе национального возрождения в целом, необходимо понять суть предшествующего двухвекового периода истории чешского этноса и его языка, т.е. с середины XVI по первую половину XVIII в. К сожалению, безвременная кончина А. Стиха не позволила осуществить грандиозные планы по изучению этой эпохи – будем надеяться, что это сделают его многочисленные ученики и последователи.

Одной из возможных причин, препятствовавших Й. Добровскому опереться на разговорный узус того времени, было то, что формирование проводимой им языковой политики пришлось на период классицизма с присущей ему эстетической концепцией. Согласно существующим канонам поэтический язык – в широком понимании этого слова – должен был значительно отличаться от языка “низших” жанров, а тем более от “языка улицы”. По мнению Б. Гавранека [Navránek 1936: 96], кодификация Й. Добровского является консервативной, однако это вызвано стремлением отличить литературный язык от повседневного разговорного языка. В свою очередь А. Едличка утверждает, что под влиянием живого разговорного узуса Добровский нередко отходит от старой велеславинской нормы [Jedlička 1959]. Определяя кодификацию Добровского как целостное, хорошо дифференцированное и тонкое описание нормы литературного чешского языка, А. Едличка указывает и на то, что морфологическую норму чешского языка Добровский рассматривает в динамике, как развивающийся процесс, о чем свидетельствуют приводимые им дублетные формы³². Добровский учитывает социальные и возрастные характеристики пользователей языка (старшее поколение / младшее / представители

³⁰ Хотелось бы высказать пожелание, чтобы при оценке языковой ситуации эпохи возрождения шире привлекались данные лингвистических исследований, а не только труды историков и литературоведов, как это делается в книге.

³¹ Особого внимания заслуживает деятельность М. Крамериуса, или Велеславина XVIII в., как его называли современники, бывшего издателем и редактором регулярной газеты на чешском языке. В 1786 г. он редактирует “Шёнфельдскую почтовую газету”; с июля 1789 г. самостоятельно издает “Пражскую почтовую газету”, называвшуюся с 1791 г. “Патриотической газетой” Крамериуса.

³² В своей “Подробной грамматике” Й. Добровский приводит самый обширный диалектный материал, который был ему известен не только по чужим трудам, но и из собственного опыта: он хорошо знал словацкий и другие славянские языки.

народа и пр.), обращает он внимание и на частотность тех или иных морфологических явлений и пр.

Предложенное Й. Добровским описание грамматической структуры чешского литературного языка не следует рассматривать как жесткую кодификационную регламентацию, равно как и лексический тезаурус Й. Юнгмана. В обоих случаях речь идет скорее о регистрации набора имеющихся возможностей. За пользователем языка остается возможность окончательного выбора³³. Делом последующих поколений было смягчить возникший дискомфорт умелой кодификационной политикой, однако кодификация Я. Гебауера и его сторонников была более жесткой и категоричной.

Так или иначе, деятелям возрождения удалось в исторически короткий срок преодолеть культурную стагнацию, возродить чешский язык во всей широте его коммуникативных функций, восстановить прерванную традицию использования чешского языка в сфере образования, гражданской жизни, в поэзии, философии, науках. Пафос языковой политики, проводимой деятелями национального возрождения, заключался в защите этнического языка от деструктивного влияния германизмов, языкового псевдоноваторства, включения узкорегionalных элементов (ср. критику Ф.Д. Трки и В.П. Жака, стремившихся приблизить литературный язык к наречию). Подобная защита была необходима для того, чтобы литературный язык мог успешно выполнять свою консолидирующую миссию в жизни этноса, чтобы он стал единым, обязательным, общепонятным языком.

Говоря о развитии национального языка в исследуемый период, Г. Гладкова справедливо уделяет внимание роли немецкого языка для чехов и греческого – для болгар [Гладкова, Ликоманова 2002: 361]. Значимость отечественной культурной традиции, а также идеи славянской взаимности, в частности, роль России, на мой взгляд, недооценивается.

Как известно, на развитие чешской национальной культуры и укрепление у чехов славянского самосознания огромное влияние оказали чешско-русские культурные связи. Для Добровского и других деятелей чешского возрождения русский язык был языком великого народа, носителя культурных и исторических традиций, народа, бывшего опорой для всех славян, народом-освободителем.

Имя Й. Добровского стало известно в России уже в начале 90-х гг. XVIII в. В феврале 1791 г. Н. Румянцев пытается установить связь с чешским ученым и узнать от него о чешско-русских взаимоотношениях в прошлом. В 1792–1793 состоялась поездка Добровского в Россию, где он имел возможность осмотреть библиотеки и архивы, собрания Чудовской и Лавровской библиотек, изучить некоторые памятники церковнославянской письменности, ближе познакомиться с русским языком и литературой. Это путешествие имело огромное значение для формирования отношения Добровского и других деятелей чешского возрождения к России и русскому народу. Вера Добровского в великую миссию славян в результате поездки усилилась. Он установил и в дальнейшем поддерживал живые контакты с русскими учеными. В 1820 г. его избрали членом Российской академии наук. О взглядах Добровского на взаимоотношения и классификацию славянских языков был хорошо осведомлен Н.М. Карамзин. Во время путешествия в Чехию (1821 г.) российский ученый П. Кеппен встретился в Праге с Й. Добровским, Й. Юнгманом и В. Ганкой. Интересные данные о русско-чешских взаимоотношениях приводит С.В. Смирнов [Смирнов 1974]. Как указывает последний, А.Х. Востоков отправил Добровскому снимки с Остромирова евангелия с подробным лингво-палеографическим описанием памятников, написав при этом: “Счастливы я буду, ежели Вы в на-

³³ Из письма Й. Юнгмана к А. Мареку: “Некоторые требуют, чтобы мы приняли единое решение о терминах... однако я ненавижу единовластие в литературе и с удовольствием вижу и слышу чуждые мне и противные мнения. Время решит, как должно быть, хотя, разумеется, я не отрицаю, что согласие в терминах, достигнутое уже в самом начале, было бы полезнее” [Jedlička 1974b].

граду за труды мои удостоите меня драгоценной для меня переписки с Вами! Давно уже я Вас люблю и уважаю, как учителя и вождя своего на стезе грамматических исследований, коими я занимаюсь”.

Шокирует следующее высказывание Г. Гладковой об эпохе болгарского возрождения: “Русское влияние с 40-х годов середины XIX века, бесспорно, играло особо важную роль, оно фактографически описано в объемной литературе, но, очевидно, за будущим остается задача очистить эти исследования от идеологических наслоений социалистического периода, в особенности учесть более объективно важность и других культурных центров... и от роли государственных интересов России на Балканах” [Гладкова, Ликоманова 2002: 185]. Позволительно спросить: «А что эти “другие культурные центры” не имели своих государственных интересов в Чехии и соответственно на Балканах?». Как специалист по эпохе возрождения Г. Гладкова должна была бы знать, какой страх испытывали чешские будители перед Веней. Это показывает и переписка Й. Добровского, Й. Юнгмана, Ф. Палацкого и других. Многие из деятелей чешского возрождения находились под негласным полицейским надзором. Достаточно вспомнить о драматической судьбе видного чешского писателя и кумира революционной молодежи в 1848 г. К. Сабини, который после изобличения в осведомительстве (после падения в 1860 г. баховского полицейского режима) был полностью покинут своими друзьями и почитателями. К сожалению, нравственный кодекс последующих столетий оказался более конформистским.

Власти Габсбургской монархии лелеяли мечту о национально-языковой интеграции обширной империи и в частности о создании единой австрийской государственно-политической нации, стоящей над этнической и языковой разнородностью населения [Štřítecký 1990]. В качестве общего официального языка в сфере государственного управления должен был использоваться язык немецкий; применение так называемых региональных языков разрешалось лишь на более низких уровнях общения. Несмотря на то, что формально чешский язык, наряду с немецким, и считался официальным, деловым языком – во всяком случае, это провозглашалось, в административной сфере фактически полностью господствовал немецкий язык. Процесс германизации во второй половине XVIII в. все более усиливался. Как отмечает Я. Порак [Porák 1982: 50], если в 1751 г. в городе Литомнержице записи в городских книгах еще производились на чешском языке, то через 40 лет из-за нехватки чиновников, владеющих чешским языком, лишь на немецком. В конце XVIII в. онемечиваются уже целые исконно чешские регионы, например, вокруг Жатца, Литомнержиц, Прахатиц и т.д. По декрету 1787 г. знание немецкого языка требовалось и от ремесленников. Декреты 70-х годов XVIII в. повсеместно укрепили положение немецкого языка в школах. Только с 1774 г. чешский язык начал в ограниченной степени использоваться в сфере образования, причем лишь в начальных (тривиальных) школах в сельской местности; в остальных формах начального обучения, а также в средней и высшей школе чешский язык практически не использовался. По свидетельству Й. Добровского, в 1780 г. в Чехии было примерно 130 школ, в которых обучение ранее велось только на чешском, а теперь – только на немецком языке. В 1781 г. немецкий язык был провозглашен в качестве общегосударственного языка Австрийской империи. В упомянутый период чешский литературный язык перестает быть языком науки, которым он был, наряду с латынью, в добелогорский период (т.е. до 1620 г.). В функции научного языка восстанавливается латынь, а также немецкий и французский языки. Существенно изменилась в жанровом и тематическом отношении книжная продукция на чешском языке. Судя по сохранившемуся корпусу текстов, в большинстве своем это литература религиозного содержания, наставительная, нраво-учительная и пр., предназначенная для простого народа. Литература “высших” жанров, т.е. художественное творчество в истинном смысле этого слова, в том числе поэзия, “высокая” проза и т.д., во второй половине столетия на чешском языке практически не создавалась. Сказанное, разумеется, не означает, что чешский язык в довозрожденческий период пребывал в полном упадке. Новейшие исследования подтверждают факт континуального развития различных уровней чешской грамматической системы. Тем

не менее, факт существенного сужения коммуникативного спектра чешского литературного языка отрицать трудно.

Деятели возрождения выполнили свою патриотическую миссию – в исторически короткий срок была восстановлена прерванная традиция использования родного языка в сфере образования, гражданской жизни, в поэзии, философии, науках. Это не означает, что проводимая ими культурная и языковая политика не была объектом острой критики ни тогда, ни теперь. Ныне, “задним числом”, вырывая из исторического контекста, можно, конечно, упрекать чешских будителей в том, что они не воспользовались альтернативным решением – опорой на существующий живой разговорный узус (путь, по которому пошли некоторые славянские народы) или же, что, создавая терминологическую номенклатуру на родном языке, они замедляли процесс включения чешского этноса в европейскую цивилизацию. Критические нападки, обвинения в национализме (прежде всего И. Юнгмана) особенно усилились, как отмечал А. Стих в своей лекции для зарубежных богемистов [Stich 1998 г., интернетовская версия], после “бархатной революции” 1989 г. К сожалению, это иногда имеет выраженный политический подтекст (см. [Нещименко 2003б]).

Третья глава – автор И. Ликоманова – посвящена современной языковой ситуации в Болгарии. К исследованию привлекается главным образом публичная речь, характеризующаяся преимущественным использованием литературного языка. В качестве иллюстрации автор привлекает сведения, извлеченные из различных статистических обзоров и справочников. В целом данный раздел преемственен по отношению к более ранним публикациям этого же автора. Несколько изменились, впрочем, некоторые оценки. Так, если раньше феномен РР в традициях российской (советской) социолингвистики рассматривался как разговорный литературный язык, то теперь его видоизмененный статус уже не вполне ясен. Вместе с тем И. Ликоманова по-прежнему полагает, что “представители... именно гуманитарного высшего образования составляют самую активную часть болгарского социума. По характеру своих профессий – учителя, научные работники, врачи, журналисты ежедневно общаются со многими людьми как через посредство СЯ, так и через посредство РР” [Гладкова, Ликоманова 2002: 404]. Можно лишь сожалеть, что автор не прислушалась к советам, высказанным в моей монографии 1999 г. по поводу неправомерности априорного отнесения представителей гуманитарных профессий к истинным носителям литературной нормы. Следует положительно оценить то, что И. Ликоманова обращает внимание на увеличение роли возрастного фактора в речевом поведении.

Включение главы о современной болгарской языковой ситуации не дает основания говорить о книге в целом как о синхронно-диахронном исследовании. По сути, здесь имеются два **синхронных** среза (эпоха возрождения и современный период), описание которых осуществляется по различной методике, на разнородной фактографической базе. Ср.: “Материал для нашей работы собирался ввиду неоднородного содержания самым разнообразным путем: для прошлых периодов – косвенным образом – из грамматик и лингвистических сочинений и работ, из трудов по истории, а для самого современного периода – из текстов, наиболее активно функционирующих в публичном и частном обращении – из прессы, публичного и частного общения” [Гладкова, Ликоманова 2002: 12]. Примечательна и пропорциональная несоразмерность глав: болгарское возрождение – 218 с.; современный период – немногим более 20 с. Какие бы то ни было вертикальные “нити” между обоими срезами, которые бы позволяли проследить направленность динамических тенденций, отсутствуют.

При сопоставительном, в данном случае **внутриязыковом** изучении, следовало бы стремиться к тому, чтобы анализ и синтез языкового материала осуществлялись на базе единой программы, единых оснований для сравнения (*tertium comparationis*), единого понятийно-терминологического аппарата, наконец, по возможности сходного (хотя бы в жанровом отношении) корпуса языковых фактов (ср. в этой связи [Нещименко 1980; Нещименко 1983]). При несоблюдении этих условий внутриязыковое сопоставление невозможно.

Завершая рассмотрение книги Г. Гладковой и И. Ликомановой, возвращусь к тому, о чем говорила в начале: о ее чрезмерной политизированности. Это особенно заметно при рассмотрении так называемых символических функций. Данные функции (этноинтегрирующие, этнорепрезентативные, этнодифференцирующие) присущи не только литературному, но и этническому языку в целом³⁴. Не случайно в ранние периоды существования этноса, когда у носителей этнического языка еще отсутствовало осознание его внутренней дифференциации, отчетливо сохранялось ощущение принадлежности к языку (народу) в целом; ср. хотя бы патристический пафос “Далимиловой хроники”, чешского памятника письменности начала XIV в. Символические функции являются, на мой взгляд, константой в жизни этноса. Их значимость может возрастать или же ослабевать, однако, пока жив сам этнос, вряд ли можно говорить об их нивелировании и даже полном исчезновении. Обращенные **вовне** они представляют этнос во внешнем мире, отличая его от других этносов; обращенные **вовнутрь**, т.е. во внутриэтническое языковое пространство, способствуют развитию в нем как тенденций **интеграции** (формирование наддиалектных образований, становление субстандартной разговорной формации, укрепление и совершенствование литературного языка как общеэтнического коммуникативного средства и пр.), так и дифференциации (ср. возникновение новых, отличающихся от уже существующих языковых манифестаций, например, различных видов сленга и т.д.).

Иными словами, в языковом пространстве этноса одновременно действуют две противонаправленных тенденции: а) **увеличение** многообразия конкретных форм общения, приводящее к **дроблению** языкового пространства; б) **нейтрализация** этого многообразия путем становления интегрированных речевых манифестаций, **организующих** языковое пространство, способствующих его **структуризации** [Нещименко 2003а: 126].

Проблеме символических функций в книге двух авторов уделяется большое внимание, причем как в теоретической главе, так и в главе о национальном возрождении. Последнее не удивительно, так как лейтмотивом эпохи возрождения у всех славянских народов, особенно у тех из них, которые страдали от национального гнета (к их числу, кстати, относятся и чехи, и болгары), было национальное самоутверждение и прежде всего становление национальных литературных языков **во всем многообразии** их коммуникативных функций. Впрочем, по мере приближения к современности интерес Г. Гладковой³⁵ к этим функциям явно угасает («мало ли это, если СЯ будет удовлетворительно выполнять “только” коммуникативные функции?» [Гладкова, Ликоманова 2002: 156]). Следует ли удивляться, что под новым углом зрения, вне исторического контекста, рассматривается период национального гнета у чехов и болгар. Как заявляет Г. Гладкова, ранее эта ситуация традиционно рассматривалась односторонне, т.е. акцентировалась значимость лишь развития этноса “по направлению к его самоопределению” [Там же: 159]. Пересматривается и проблема заимствований: «Рост заимствований в этнический язык и влияние иностранных языков на систему языка в целом, который так часто бросается на глаза как основная проблема актуального развития и к которому иногда сводятся все “отрицательные” явления актуального развития СЯ, в таком контексте – проблема совсем другого, более низкого ранга» [Там же: 160]. В связи с этим недоуменно спросим, почему же не так давно принимались языковые законы в таких развитых странах как, например, Франция?

Высокомерно оценивается ситуация, складывающаяся у таких наций как “словаки, словенцы, хорваты, македонцы, босненцы и др. В силу того, что последний атрибут нации – самостоятельная государственность – приобретена ими именно только в настоящий период, у них символические функции СЯ более чем актуальны: патристический пафос выдвигает их на передний план как основной признак идентификации с новооб-

³⁴ Кстати, вряд ли правомерно говорить, что “с РР никогда не связывались никакие общенациональные символические функции” [Гладкова, Ликоманова 2002: 88].

³⁵ Мы называем здесь именно Г. Гладкову, являющуюся автором соответствующих разделов.

разованным обществом. Язык служит также как основное средство дифференциации по отношению к языкам наций, с которыми они до сих пор состояли в одном государстве” [Там же: 384]. Возникает естественный вопрос: “А что, чехи всегда имели собственное государство? А как же тогда империя Габсбургов, Австро-Венгрия, Чехословакия и пр.?” Впрочем, иногда Г. Гладкова неожиданно сетует на то, что “у молодого поколения исчезает сознание исторической памяти народа, понятие народ для него теряет свой размер во времени, принцип преемственности поколений лишен смысла, чувства гордости за свою национальную принадлежность” [Там же]³⁶.

*

При написании этой статьи я не ставила перед собой задачи уличать авторов книги в плагиате (равно как не сделала этого во время доклада Г. Гладковой в Дрездене). В конце концов, каждый человек руководствуется своим собственным нравственным императивом. У нас он не совпадает.

В своих исследованиях я неоднократно подчеркивала, что предлагаемый мною подход не является некоей “истиной в конечной инстанции”, что это приглашение к дискуссии. Любая дискуссия, однако, должна быть конструктивной, аргументированной, предлагаемые новшества не должны быть самоцелью, а вытекать из вдумчивого и квалифицированного анализа добротного языкового материала, “работать” в нем. Только в этом случае можно прийти к важным обобщениям и выводам, позволяющим понять суть языковых процессов, их перспективную, как писал М. Докулил, глубину, т.е. прогнозировать направленность дальнейшего развития. Последнее особенно возможно в диахронных исследованиях, когда облегчается апробация предварительных предположений на разных синхронных срезах с последующим выходом на глубинные системно-функциональные закономерности, языковые универсалии. Подменять научный анализ огульными, политико-идеологическими обвинениями недопустимо.

Досадно, разумеется, что, заимствовав мою концепцию, авторы не сумели реализовать заложенные в ней исследовательские возможности, многие ее положения они попросту исказили.

И тем не менее взяться за перо меня побудило прежде всего оскорбительное отношение к славистике и в первую очередь к российской науке. Подобная тональность, характерная для книги в целом, разумеется, не может не волновать нас, славистов, богемистов, для которых Чехия стала, по сути, второй родиной, которые отдали свои силы изучению и популяризации достижений богатейшей чешской культуры. Напомним в этой связи о таких замечательных представителях отечественной богемистики как С.В. Никольский, “вернувший” своими трудами о К. Чапеке этого писателя чешскому народу³⁷, как А.Г. Широкова, создавшая в нашей стране школу богемистов и т.д.

Что же касается советской социалингвистики, то ее огромные заслуги и бесспорный международный авторитет очевидны. Имена таких корифеев как Б.А. Ларин³⁸, В.М. Жирмунский, Е.Д. Поливанов, В.Н. Ярцева, Л.Б. Никольский, А.Д. Швейцер и многих других говорят сами за себя, они широко известны во всем мире. Кстати, книга А.Д. Швейцера и Л.Б. Никольского “Введение в социалингвистику” была переведена в свое время на чешский язык Й. Краузом [Švejcer, Nikolskij 1983]. В свою очередь среди

³⁶ Очевидно, Г. Гладковой попадались не слишком патриотичные студенты. Мне везло больше: в окружении А. Стиха находились студенты Карлова университета, не только талантливые, но и преданные чешской культуре и языку.

³⁷ В послевоенной Чехословакии имени К. Чапека сопутствовала репутация буржуазного писателя.

³⁸ Под руководством Б.А. Ларина в первые послевоенные годы формировался как русист В. Барнет. Искреннюю любовь к России этот замечательный человек и талантливый ученый пронес через всю свою жизнь. Важно подчеркнуть, что он отнюдь не связывал с Россией все постигшие его беды.

чешских ученых есть много имен, которым мы отдаем дань своего огромного уважения. Назовем лишь некоторых из них: Б. Гавранек, Я. Белич, А. Едличка, М. Докулил, В. Барнет, А. Стих, Ф. Данеш, И. Немец и мн. др.

Хотелось бы надеяться, что время все расставит по своим местам, что “зерна будут отделены от плевел” и что даже такие печальные для обоих наших народов события как 1968 г., а также последовавшая за ним “нормализация” дождутся своего непредубежденного исследователя, который отважится сказать, где в ту пору была действительно зловавшая “рука Москвы”, а где интриги местных “энтузиастов”. Может быть, тогда мы, наконец, поймем, почему стали жертвами или же попали в опалу наиболее честные, инициативные, яркие и талантливые люди, почему именно они были выбиты или отгеснены людьми, не имевшими шансов на честное продвижение в своей профессии. Нельзя не вспомнить о том, что уже в середине 90-х годов (в период бурных дебатов по поводу реформы правописания) резким нападкам в печати подвергся А. Стих: один из функционеров тогдашней ЧСАН клеймил его как “большевистскую структуру”, призывая проверить, чему он учит молодежь в стенах Карлова университета. Я сама была свидетелем искреннего возмущения А. Стиха: “Не хватает, чтобы в нашей демократической стране снова начались чистки!”. И это был тот самый А. Стих, которого в начале 80-х гг. безжалостно вышвырнули из Института чешского языка за политическую “неблагожелательность”. Все попытки воспрепятствовать этой расправе, предпринимавшиеся, по нашей просьбе, официальными представителями отечественной науки, наталкивались на жесткое сопротивление тогдашнего директора этого Института.

Во все времена чешские и российские ученые и в первую очередь слависты, плодотворно сотрудничали, они протягивали друг другу руку помощи и поддержки, невзирая на политические перипетии. В тяжелый период репрессий советские ученые находили убежище в Чехословакии, становясь украшением, в том числе и Пражского лингвистического кружка, на который так любит ссылаться Г. Гладкова. Вспоминается рассказ А.Г. Широковой о том, как во время съезда славистов в Праге в 1968 г. именно В. Барнет старался окружить вниманием советских ученых. Нельзя забыть и того, как 21 августа 1998 г. в день открытия международного симпозиума богемистов в честь 650-летия Карлова университета А. Стих делал все возможное, чтобы мы не почувствовали неприязни. Именно в этот день в торжественной обстановке Каролинума за вклад в развитие богемистики российским ученым были вручены памятные медали философского факультета Карлова университета.

В свою очередь советские богемисты и русисты в период так называемой “нормализации” проявляли заботу и внимание к своим опальным коллегам, в частности, к В. Барнету³⁹, А. Едличке, отметившему, кстати, именно в Москве, в теплой сердечной обстановке свое семидесятилетие. Советская лингвистическая пресса предоставляла возможности для публикации многим чешским ученым, лишенным этого у себя на родине. Было бы несправедливо не помнить, что именно наши ученые широко пропагандировали достижения Пражского лингвистического кружка, причем тогда, когда в Чехословакии это научное направление отвергалось как буржуазное. В этой связи нельзя не назвать фундаментальную публикацию о Пражской лингвистической школе Т.В. Булыгиной [Булыгина 1964], получившую высокую оценку Р.О. Якобсона и Й. Вахека. Особое место в этом ряду занимает изданный в Москве “Лингвистический словарь Пражской школы” Й. Вахека [Вахек 1964]. Упомянем также сборник “Пражский лингвистический кружок” [Пражский лингвистический кружок 1967]. Достижения чешской лингвистики

³⁹ Именно А.Г. Широкова безуспешно пыталась защитить В. Барнета от яростных и немолимых “нормализаторов”. Уже в 1980 г. по ее приглашению В. Барнет прочел замечательный спецкурс по теории сопоставительного изучения славянских языков на филологическом факультете Московского университета. Вспоминаются и великолепные лекции А. Стиха в этом же университете, а также в Институте славяноведения РАН.

широко популяризировались в нашей стране; ср., например, “Языкознание в Чехословакии” [Языкознание в Чехословакии 1978].

Доброй традицией и хорошей школой было обсуждение на Лингвистическом объединении ЧСАН, на семинарах, симпозиумах в Институте чешского языка, среди университетских коллег докладов наших богемистов. Вспоминается, как в конце 60-х гг. по просьбе сотрудников Института чешского языка, работавших над сходной проблематикой, я направила в Прагу уже готовую, но еще не опубликованную рукопись монографии [Нещименко 1968]. Все это говорит об отношениях доверия и порядочности. Многие чешские друзья, с которыми меня соединяют узы верной, испытанной временем дружбы, когда-то были коллегами, с которыми мы параллельно разрабатывали одну и ту же проблематику. Я счастлива, что время и обстоятельства нас не развели. И, наконец, я не могу не вспомнить о замечательном чешском ученом Милоше Докулиле, который был для меня не только другом и учителем, но и нравственным авторитетом [Нещименко 2003в].

Прочные контакты между учеными наших стран сохраняются и ныне – назовем лишь совместную работу над международными проектами, участие в конференциях и т.п. Чешские ученые щедро предоставляют нам, богемистам, возможность пользоваться лексикографическими архивами Института чешского языка ЧАН и Чешского национального корпуса в Карловом университете. Хотелось бы надеяться, что обоюдными усилиями нам удастся сохранить добрые и плодотворные традиции, столь важные для настоящего и будущего обоих наших народов.

Заключая статью, хотелось бы задать вопрос, адресовав его уже не авторам книги, а чешскому (да и болгарскому) научному сообществам (тем более, что Г. Гладкова нередко выступает от их имени): солидаризируются ли чешские (равно как и болгарские) ученые со следующими высказываниями:

– “никто (имею в виду в чешском языковом обществе и болгарском языковом обществе, в отличие от упомянутых уже словаков, сербов, хорватов и др.) не ощущает или, по крайней мере, не осознает СЯ как национально-репрезентативную отличительную черту нации, никто не связывает существование государственности с языковым вопросом” [Гладкова, Ликоманова 2002: 285];

– “не является ли часть проблем только следствием субъективной интерпретации языкознанием актуальной ЯСит, не тонут ли языковеды в стереотипах, созданных родным языкознанием как национальной – по общественному заказу – наукой, традицией, порожденной эпохой возрождения и последующих, также патетически патриотических, этапов эмансипации нации, образования государственности, или же идеологическими штампами эпохи социализма?.. Вопросы такого типа вызваны присутствием в языковедческих трудах (и в родно-язычном обучении), очевидно, идеологически зависимых или даже тенденциозных оценок развития и характера СЯ у отдельных славянских народов” [Там же: 380];

– “в период социализма требование проникновения этнического языка (а особо СЯ) во все сферы общения доведено до крайности” [Там же: 160];

– “символические функции СЯ не являются в современной чешской и болгарской ЯСит, как и в части других славянских языков актуальными: целей НВ было достигнуто, наличие всех атрибутов нации, включительно и СЯ совсем привычно и естественно. В регламентированной сфере нет надобности демонстрировать их в явном смысле, никто не боится возможности утраты национальной самобытности” [Там же: 383].

Хочется надеяться, что далеко не все ученые разделяют подобные взгляды, поскольку разработка проблематики социолингвистики, теории литературного языка имеет в чешской науке давние плодотворные, если не сказать блистательные, традиции.

Надежду вселяет и то, что с суждениями Г. Гладковой резко контрастирует мнение Я. Корженского: “В настоящее время нередко приходится слышать о том, что национализм (патриотизм, осознание своей принадлежности к той или другой национальности и пр.) является исключительно политическим, эстетическим, культурным порождением романтизма и что в период до или же после расцвета романтизма надобность в этом от-

падает, становясь всего лишь негативным проявлением ущемленности, маргинальности (перевод наш. – Г.Н.)” [Корженский 2005]⁴⁰.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Булыгина 1964 – Т.В. Булыгина. Пражская лингвистическая школа // Основные направления структурализма. М., 1964.
- Вахек 1964 – Й. Вахек. Лингвистический словарь Пражской школы. М., 1964.
- Виденов 1982 – М. Виденов. Опыт за типология на българската езикова ситуация през възраждането. София, 1982.
- Гладкова, Ликоманова 2002 – Г. Гладкова, И. Ликоманова. Языковая ситуация: Истоки и перспективы (болгарско-чешские параллели). Praha, 2002.
- Гладкова 2002 – Г. Гладкова. Опыт интерпретации развития современной языковой ситуации // Möglichkeiten und Grenzen der Standardisierung slavischer Schriftsprachen in der Gegenwart / Beiträge zur Konferenz der Internationalen Kommission für slavische Schriftsprachen. Dresden, 25. – 28. Oktober 2000. 2002.
- Корженский 2005 (в печати) – Я. Корженский. Европейская коммуникация: глобализация и этничность // Глобализация и этнизация: этнокультурные и этноязыковые процессы. 2005 (в печати).
- Ликоманова 1994 – И. Ликоманова. Синтаксис на българската разговорна реч (в съпоставка с руски, чешки, полски език). София, 1994.
- Нещименко 1968 – Г.П. Нещименко. История именного словообразования в чешском литературном языке конца XVIII–XX вв. М., 1968.
- Нещименко 1980 – Г.П. Нещименко. Очерк демунивативной деривационной системы в истории чешского литературного языка (конец XIII – середина XX вв.). Praha, 1980.
- Нещименко, Широкова 1981 – Г.П. Нещименко, А.Г. Широкова. Особенности формирования литературного языка чешской нации в эпоху национального возрождения // Формирование наций в Центральной и Юго-Восточной Европе: Исторический и историко-культурный аспект. М., 1981.
- Нещименко 1983 – Г.П. Нещименко. О некоторых аспектах сопоставительного изучения славянского словообразования // Сопоставительное изучение русского языка с чешским и другими славянскими языками. М., 1983.
- Нещименко 1985 – Г.П. Нещименко. Функциональное членение чешского языка // Функциональная стратификация языка. М., 1985.
- Нещименко 1998 – Г.П. Нещименко. Значимость оппозиции “носитель – пользователь” языка (языкового видиома) для изучения специфики языковой ситуации и ее динамики // Славянское языкознание. XII. Международный съезд славистов. Краков, 1998 г. М., 1998.
- Нещименко 1999 – Г.П. Нещименко. Этнический язык. Опыт функциональной дифференциации (на материале сопоставительного изучения славянских языков) // Specimina philologiae slavicae. Bd. 121. München, 1999.
- Нещименко 2001 – Г.П. Нещименко. Динамика речевого стандарта современной публичной вербальной коммуникации: проблемы, тенденции развития // ВЯ. 2001. № 1.
- Нещименко 2003а – Г.П. Нещименко. Языковая ситуация в славянских странах. Опыт описания. Анализ концепций. М., 2003.
- Нещименко 2003б – Г.П. Нещименко. Великий чешский ученый Йозеф Добровский // Славяноведение. 2003. № 6.
- Нещименко 2003в – Г.П. Нещименко. Памяти выдающегося чешского ученого Милоша Докулила // ВЯ. 2003. № 2.
- Нещименко 2004 (в печати) – Г.П. Нещименко. Переименовывать или не переименовывать? (О некоторых терминологических проблемах в славистике) // Международная конференция “Стандарт – субстандарт – синхронные и диахронные аспекты”. Заседание Комиссии по изучению славянских литературных языков при МКС. Варна; Шумен (в печати).
- Проблемы славянской диахронической социалингвистики 1999 – Проблемы славянской диахронической социалингвистики: Динамика литературной нормы. М., 1999.

⁴⁰ Автор статьи выражает искреннюю признательность В.А. Дыбо и Д. Шлосару за внимательное прочтение статьи в рукописи, а также за ценные советы и замечания, которые по мере возможности были учтены.

- Поливанов 1968 – *Е.Д. Поливанов*. Статьи по общему языкознанию. М., 1968.
- Пражский лингвистический кружок 1967 – Пражский лингвистический кружок. Сборник статей. М., 1967.
- Смирнов 1974 – *С.В. Смирнов*. К истории русско-чешских научных связей в I половине XIX века // Acta Universitatis Carolinae. Philologica 3–4. 1974. Slavica Pragensia XVII. Praha, 1974.
- Толстой 1988 – *Н.И. Толстой*. К вопросу о зависимости элементов стиля стандартного литературного языка от характера его “стандартности” // История и структура славянских литературных языков. М., 1988.
- Языкознание в Чехословакии 1978 – Языкознание в Чехословакии. Сборник статей. 1956–1974. М., 1978.
- Encyklopedický slovník češtiny 2002 – Encyklopedický slovník češtiny. Praha, 2002.
- Havránek 1936 – *В. Havránek*. Vývoj spisovného jazyka českého // Československá vlastivěda. Roč. II. Praha, 1936.
- Havránek 1963 – *В. Havránek*. Studie o spisovném jazyce. Praha, 1963.
- Jedlička 1959 – *А. Jedlička*. Josef Dobrovský a tvaroslovná kodifikace spisovné češtiny // Studie o jazyce a literatuře národního obrození. Praha, 1959.
- Jedlička 1974a – *А. Jedlička*. Spisovný jazyk v současné komunikaci. Praha, 1974.
- Jedlička 1974b – *А. Jedlička*. Jungmannovy zásluhy o nový český jazyk spisovný // Acta Universitatis Carolinae. Philologica 3–4. Praha, 1974.
- Karhanová 2004 – *К. Karhanová*. Nejde jen o formu, ale i o obsah: Ideál dobrého řečníka v zrcadle průzkumu názorů české veřejnosti // Naše řeč. 2004. № 2.
- Krčmová 2000 – *М. Krčmová* – Sborník prací filozofické fakulty Brněnské univerzity. Řada jazykovědná. A 48. 2000. – Рец. на кн.: *Г.П. Нецименко*. Этнический язык. Опыт функциональной дифференциации (на материале сопоставительного изучения славянских языков).
- Neščímenko 1986 – *Г.П. Neščímenko*. K problému diferenciacie národního jazyka. Teze přednášky v JS v Brně dne 11.12.1985 // Jazykovědné aktuality. Informativní zprávodaj československých jazykovědců. 1986. № 1–2.
- Porák 1983 – *J. Porák*. K situaci v češtině před obrozením. Přednášky z 26. běhu Letní školy slovan-ských studií v roce 1982. Praha, 1983.
- Stich 1998 – *А. Stich*. Kořeny české kulturní totožnosti: Jak to bylo s českým jazykem a literaturou v pobělohorském období // Britské listy 1998 (интернетовское издание).
- Stich 2004 – *А. Stich*. Jazykověda – věc veřejna. Praha, 2004.
- Střítecký 1990 – *J. Střítecký*. České identity // Přítomnost. 1990. № 3.
- Švejc, Nikolskij 1983 – *А.Д. Švejc, Л.В. Nikolskij*. Úvod do sociolingvistiky. Praha, 1983.
- Tváře češtiny 2000 – *I. Bogoczová, K. Fic, J. Chloupek, E. Jandová, M. Krčmová, O. Müllerová*. Tváře češtiny // Spisy filozofické fakulty Ostravské univerzity. № 132. Ostrava, 2000.